

ISSN 0132 - 1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

4
1990



• НАУКА •

Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

ИЮЛЬ — АВГУСТ

СОДЕРЖАНИЕ

ДИСКУССИИ

СССР — Югославия. 1948 год в современном прочтении	3
--	---

СТАТЬИ

<i>Дьяков В. А.</i> О значении марксизма для исторической науки	19
<i>Тихомирова В. Я.</i> Тадеуш Ружевиц и советская культура	28
<i>Вайскопф Михаил</i> (Израиль) Гоголь и Сковорода: проблема «внешнего человека»	36
<i>Липатов А. В.</i> «Русский» Крашевский. (Польско-русские литературно-типологические параллели)	46
<i>Николаев С. Л.</i> К истории племенного диалекта кривичей	54
<i>Яковлев А. В.</i> Некоторые вопросы новогреческого консонантизма	64

СООБЩЕНИЯ

<i>Богачева И. А., Новопашин Ю. С.</i> Западные политологи о развитии социалистического содружества	70
<i>Латыш М. В.</i> Парламентское заявление 30 мая 1917 г. и чешская политика	78
<i>Ивицкий П. И.</i> Польско-восточнославянские литературные связи	88

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

<i>Кузьмин М. Н.</i> Словацкий комениолог Ян Родомил Квачала — профессор Юрьевского университета	94
--	----

ПОРТРЕТЫ

<i>Искрин М. Г.</i> Петербургский библиограф В. Г. Анастасевич	99
--	----

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Два мнения об одной книге (Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян)	103
<i>Фирсов Е. Ф.</i> O. Novak. Henleinovci proti Československa. Z historie sudetoněmeckého fašismu v letech 1933—1938	107

4

1990

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В ЯНВАРЕ
1965 г.

МОСКВА
«НАУКА»

<i>Евгеньин И. Е.</i> , G. X. Skilling. Samizdat and independent society in Central and Eastern Europe	109
<i>Агапкина Т. П.</i> С. Ф. Муспенко. Творчество Зофьи Налковской	112
<i>Черторицкая Т. В.</i> Ценнейшее издание в области славистики	114
<i>Орел В. Э.</i> В. Чекмонас. Введение в славянскую филологию	117

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

<i>Фрейденберг М. М.</i> Новые публикации далматинских городских статуты	119
<i>Черторицкая Т. В.</i> Codices selecti Faksimile Editionen I — LXXXVII. Katalog	120
<i>Смирнов Л. Л.</i> Dvoň. Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slovistov (1925—1975)	121

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Медушевский А. П.</i> Советско-польская конференция «Славянский мир и Римская империя»	123
<i>Ковтун Е.</i> Конференция к 100-летию Карела Чапека	125

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. ПОП (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,
 А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ, А. А. ЗАЛИЗНЯК, М. С. КАШУБА,
 В. П. КОЗЛОВ, М. Н. КУЗЬМИН, Г. Г. ЛИТАВРИН (зам. главного редактора),
 Г. Ф. МАТВЕЕВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, А. Ф. НОСКОВА,
 Л. Н. СМЕРНОВ (зам. главного редактора), Л. А. СОФРОНОВА, Б. Н. ФЛОРЯ

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*



ДИСКУССИИ

СССР — ЮГОСЛАВИЯ. 1948 ГОД В СОВРЕМЕННОМ ПРОЧТЕНИИ

Редакция «Литературной газеты» совместно с редакцией известного белградского еженедельника «НИН» провела 17—18 января 1990 г. «круглый стол» советских и югославских обществоведов, посвященный рассмотрению исторического опыта советско-югославского конфликта 1948 г. В дискуссии за «круглым столом», который вел член редколлегии «Литературной газеты» О. Н. Прудков, приняли участие: с советской стороны — директор Института славяноведения и балканистики АН СССР д-р ист. наук, проф. В. К. Волков; ст. научн. сотр. ИСБ АН СССР Л. Я. Гибианский, заведующие отделами ИВЕМО АН СССР канд. ист. наук Е. А. Амбарцумов и канд. ист. наук М. П. Павлова-Сильванская, зав. отделом ИМЭМО АН СССР д-р эконом. наук Л. А. Любимов, зав. сектором ИМРД АН СССР д-р эконом. наук, проф. С. А. Ершов; с югославской стороны — общественный деятель и публицист М. Джилас, писатель и общественный деятель Д. Чосич, профессора Б. Петранович, С. Стоянович, А. Крешич. Журнал по договоренности с редакцией «Литературной газеты» ниже публикует некоторые материалы состоявшейся разносторонней и неоднозначной дискуссии, зачастую выходившей за рамки основной темы обсуждения.

М. ДЖИЛАС

На сегодняшнем «круглом столе» мы намерены твердо защищать позицию Югославии в 1948 г., но при этом быть объективными в освещении позиции нашего правительства и ЦК КПЮ в то время.

Хочу сказать несколько слов о наших возможных ошибках, которые не были истинной причиной конфликта, но могли способствовать обострению отношений с Югославией со стороны Сталина.

В письмах Сталина и Молотова, адресованных югославскому руководству (март — май 1948 г.), говорилось о том, что югославам море по колено. В этом есть определенная правда: мы только что победоносно завершили революцию, были переполнены революционным энтузиазмом и революционными иллюзиями, разумеется. Мы переоценивали свои силы, свои возможности, и в указанных письмах есть определенная критика этого. Однако главное, по-моему, то, что за данной оценкой скрывалась боязнь Сталина, что Югославия хочет занять ведущие позиции в коммунистическом движении. Такой идеи у нас не было, потому что несмотря на революционный энтузиазм мы понимали, что у нас нет таких сил, чтобы вытеснить или заменить Советский Союз в коммунистическом движении.

Далее. Мы в Югославии переоценивали возможности Советского Союза, который очень сильно пострадал во время войны. Он не мог нам оказать той помощи, какую мы хотели получить. Зачастую мы выдвигали перед СССР такие требования, которые он объективно не мог выполнить. Но, в свою очередь, Сталин стремился установить несправедливые экономические отношения с соцстранами, и с Югославией в том числе, и это

вызывало у югославского руководства критическое отношение к советскому руководству. Подобное отношение могло быть для Сталина дополнительной причиной «гнева» на Югославию.

Советское руководство также критиковало КПЮ за то, что партия все еще была на нелегальном положении. Это не совсем точно, хотя полуполигальность партии действительно продолжалась дольше, чем это было нужно. Обвинения в том, что мы помогаем кулакам и тесно связаны с Западом, были безосновательны. Мы тогда были очень тесно связаны с Советским Союзом и нас на Западе даже называли сателлитом СССР номер один. Югославия являлась авангардной частью тогдашнего социалистического мира, я бы сказал, наиболее радикальной его частью. Поэтому считаю, что основная вина за разрыв отношений все-таки лежит на советском руководстве. Основная ошибка Сталина состояла в том, что он не разделял интересы коммунистического движения и свои личные устремления, понимая мировой коммунизм как расширение советского влияния. Именно на этой основе произошел конфликт с Югославией. Ведь из войны мы вышли очень сильными и, хотя идеологически были тесно связаны с Советским Союзом, организационно и политически являлись самостоятельным государственным и партийным организмом. Поэтому в случае с Югославией Сталин потерпел поражение, но в то же время ему удалось взять под контроль все остальные восточноевропейские страны.

Я вспоминаю, что тогда в Восточной Европе, в частности в Польше, Румынии, в некоторой степени в Венгрии, существовала тенденция освободиться от влияния СССР, но она никоим образом не имела антисоветской формы. Чаще всего мотивировка была следующей: ситуация в нашей стране другая, чем в СССР, иное историческое прошлое, иной уровень развития, иная национальная культура. Поэтому мы должны строить такой социализм, который бы не противоречил советскому по сути, но по формам он должен быть иным. Помню разговор на эту тему с К. Готвальдом в 1946 г., когда я участвовал как делегат от КПЮ в работе съезда КПЧ. Готвальд говорил о том, что Чехословакия — промышленно развитая страна и социализм будет развиваться здесь в более мягких формах, чем в СССР. Он был против коллективизации в Чехословакии. В сущности, взгляды Готвальда не очень сильно различались с нашими. Но в отличие от Тито, Готвальд был слабым человеком, когда дело доходило до конфликта. В. Гомулка на заседании Коминформа также говорил о польском пути к социализму. Имелась своя точка зрения и у венгерского руководства. Но когда произошел советско-югославский конфликт, все они оказались на стороне советского руководства.

Имел свои взгляды на проблемы социализма и Димитров. Однако он хорошо знал Сталина и был очень осторожен, внимательно следил за реакцией Москвы. После получения первого письма из Москвы, болгарская делегация проезжала через Белград, направляясь, кажется, в Венгрию или в Чехословакию. Меня послали встретить ее. Я зашел в поезд, поздоровался с Димитровым. Он взял мою руку двумя руками и сказал: «Держитесь крепко». Затем мы вошли в салон. Там был В. Червенков и еще кто-то, и я сказал, упомянув о письме, что Сталин и Молотов не имеют право нас так обвинять. На что Димитров ответил, что Сталин и советское руководство знают, что говорят. То есть он тут же переменял тон. Я, разумеется, понял, что в ЦК БКП есть люди, которые связаны с Москвой и думают по-другому, чем Димитров. У меня создалось впечатление, что он боится сказать в присутствии членов ЦК то, что сказал мне.

Мы считаем, что конфликт между СССР и Югославией был одним из самых значительных международных событий после второй мировой войны. Он явился началом борьбы за независимость коммунистических партий от Москвы, от Сталина и советского руководства. Это одна сторона проблемы. Другая состоит в том, что в результате конфликта в Югославии было положено начало каким-то новым формам социализма, было положено начало либерализации, хотя эта либерализация являлась весьма скромной. Она не изменила существа югославской системы, которым являлись партийный централизм, партийно-бюрократический характер власти, от-

сутствие демократии. Партийный централизм, который и в международных рамках оказался ошибочным, оказался ошибочным и в Югославии. Под прикрытием демократического централизма развился культ личности Тито. После смерти Сталина югославское руководство во главе с Тито остановило процесс либерализации, ощутив в нем угрозу для монополярной власти партии и личной власти Тито. Но вопреки этому самостоятельная государственная политика Югославии принесла определенные результаты в коммунистическом движении. Она была примером для восточноевропейских стран. Но они переоценивали этот пример, считая, что в Югославии есть демократия, которой, по существу, не было.

После смерти Сталина отношения между Югославией и СССР начали меняться. Но и при Хрущеве советское руководство не было последовательно. Декларации, которые принимались, не являлись до конца демократическими. Советский Союз и в дальнейшем настаивал на проведении различных международных совещаний коммунистических партий. На одном из них делегация Югославии не согласилась с принятыми решениями. Время от времени в Югославии ощущалась опасность со стороны Советского Союза, хотя реально этой опасности не было. Это было следствием не до конца выясненных отношений. Затем сыграло отрицательную роль вмешательство Советского Союза в дела Чехословакии. В последнее время никаких проблем, которые вызывали бы недоверие между двумя странами, не существует.

Я бы остановился еще на двух вопросах. Все восточноевропейские страны, включая и Советский Союз, движутся в направлении сближения с Западом. На Западе некоторые политики считают, что западные государства должны в экономическом отношении помогать Советскому Союзу с тем, чтобы он отказался от своей роли в Восточной Европе. Я полагаю, что это могло бы только усложнить процесс демократизации в СССР. Такие взгляды — по сути, остатки политики раздела сфер влияния. Согласно другой теории, нужно создать определенную буферную зону между Советским Союзом и Западом, организовав так называемую Центральную Европу. Я считаю, что это также очень сомнительная теория. По моему мнению, в Восточной Европе развивается процесс демократической революции, которая не была известна миру в прошлом. Эта революция изменила ход истории не только в Восточной Европе, но и во всем мире, и Запад, стабильный в социальном и политическом отношениях, должен приспособиться к новой реальности. Отстаивать политику раздела сфер интересов, равновесия сил и крупных военных организаций уже невозможно. Сейчас открывается новая перспектива в международных отношениях.

В. К. ВОЛКОВ

В декабре 1988 г. в Москве в форме «круглого стола» проходила советско-югославская партийно-научная консультация и из присутствующих здесь с югославской стороны в ней принимал участие проф. Бранко Петранович. Прошло 13 месяцев, насыщенных гигантскими революционными изменениями в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Они подводят итог длительному периоду послевоенной истории этих государств, которые мы долгие годы считали социалистическими. Сейчас мы смотрим на это совсем другими глазами. Естественно, что эти изменения не могут не накладывать печать на наши подходы к оценке минувших событий.

Главный вопрос, который стоял перед советскими и югославскими коллегам, когда они встретились в декабре 1988 г., это вопрос о том, как мог произойти разрыв отношений между Советским Союзом и Югославией, почему события приняли такой драматический оборот.

Прежде всего нужно выяснить, что собой представляли тогда отношения европейских соцстран и что собой представляло явление, получившее на первом заседании Информбюро, на котором присутствовал Милован Джилас, название «лагерь мира, социализма и демократии». Сейчас мы

можем достаточно четко сказать, что вместе с утверждением власти коммунистических партий в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в них стала быстро складываться командно-административная система. В принципе она была схожа с советской, хотя и со своими многочисленными модификациями. Это, конечно, была тоталитарная система сталинизма в чистом виде. Обсуждая сейчас проблему сталинизма, мы видим и то, что он сложился в России не случайно, зародился в рамках большевизма, но это уже его генетические черты. Нам же сегодня, видимо, лучше говорить немного о другом. О том, что в результате распространения командно-административных методов управления в других странах Европы такая система стала складываться там с самого начала. Это не было результатом, скажем, событий 1947 г., т. е. заседания Информбюро, это не было и результатом разрыва с Югославией в 1948 г.

Я думаю, что вопрос гораздо более сложный. Ситуация была такова, что каждая из компартий видела в Советском Союзе образец для подражания, ведь СССР только что вышел из войны в ореоле победителя. И в советской пропаганде, и в выступлениях Сталина в феврале 1946 г., и в докладе Маленкова на первом заседании Информбюро — всюду говорилось о том, что советская система оправдала себя, что она показала свою жизнеспособность, что она проверена войной и потому ее следует заимствовать. Мы знаем массу примеров, когда представители Югославии по собственной инициативе приезжали в Москву, посещали министерства с целью изучения опыта и очень активно его перенимали. В частности, и в силу этих причин командно-административные системы в других социалистических странах стали возникать очень быстро.

Общественные науки в социалистических странах (и в первую очередь советская историческая наука), в свое время утверждали, что отношения между этими странами представляют собой новый тип международных отношений. С тем, что это новый тип, я думаю, можно согласиться. Но тогда встает вопрос: а в чем новизна этих отношений? В науке и пропаганде их называли социалистическими международными отношениями. Исходя из современного уровня наших знаний, можно смело сказать, что социалистичности в них было ровно столько, сколь социалистическими можно считать существовавшие в этих странах командно-административные системы. Другое утверждение состояло в том, что эти отношения строились на основе принципов пролетарского, социалистического интернационализма. Такое утверждение мало проясняет их суть, но дает отправной момент для последующего анализа.

Во-первых, в этом утверждении проявляется крайняя идеологизация всей сферы международных отношений. Причем идеологизация с сектантско-догматических позиций, а еще более — со сталинистских. Далее, данное утверждение раскрывает связь этих отношений с другим явлением, а именно — с мировым коммунистическим движением, а еще точнее — с традициями и практикой Коминтерна. Отсюда, пожалуй, и вели свои традиции первоначальные отношения европейских соцстран. Их правящие партии имели налаженные контакты именно в рамках международного коммунистического движения. И эту схему они перенесли на отношения между государствами.

Можно сказать, что наряду с негативными явлениями эти связи давали в первое время и ряд преимуществ. Прежде всего указанная группа стран проявила себя достаточно действенной и сплоченной на международной арене. В то же время поскольку ВКП(б) объявлялась ведущей в международном коммунистическом движении, то и на отношения между соцстранами был перенесен тезис о ведущей роли Советского Союза. И это, кстати, никто не оспаривал.

Следует подчеркнуть, что межгосударственные отношения сразу же приняли характер военно-политического союза и были оформлены соответствующими двухсторонними договорами. Совершенно очевидно, что эти отношения не были равнокачественны во всех своих звеньях. Но мне хотелось бы отметить особую роль отношений в треугольнике Советский Союз — Югославия — Болгария.

Дело в том, что в этой группе стран связи сразу же приняли особый характер, опережавший развитие отношений с другими соцстранами и в известной степени придававший им какую-то свою законченность. Высокая степень совпадения внешнеполитических интересов этой группы стран дала им возможность выступить достаточно сплоченно на заключительном этапе войны, когда создавалась ООН, и затем на Парижской мирной конференции 1946 г. Были и другие факты, свидетельствовавшие о тесном сотрудничестве между этими странами.

Когда в 1947 г. собралось на свое заседание Информбюро, то речь уже шла об унификации режимов. Некоторые возражения высказал только В. Гомулка. Оценка международного положения, данная здесь же, была крайне идеологизирована. Само по себе заседание Информбюро 1947 г. явилось серьезным вкладом в развитие «холодной войны». На всей его работе лежала печать конфронтационности мировоззрения сталинизма, его жесткой прямолинейности, абсолютизации противоречий двух общественно-политических систем, возведенных до уровня противостояния. В отношениях между соцстранами демократические нормы международного права не брались как исходная база. Игнорировалось объективное существование национально-государственных интересов отдельных стран.

Одним словом, методы командно-административной системы были перенесены в международную политику. Это сопровождалось значительным волюнтаризмом, авторитарной практикой, что создавало широкую базу для зарождения конфликтов. И такие конфликты не замедлили возникнуть. Однако, почему конфликт вспыхнул именно в советско-югославских отношениях? Начну с констатации того факта, что югославская исторпография этой проблемы породила несколько мифов. Один из них тот, что противоречия якобы возникли в сфере межпартийных отношений. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что таких противоречий просто не было. Мы знаем некоторые документы, думаю, что М. Джиласу они также известны. Я имею в виду запись беседы Сталина с руководством компартий Болгарии и Югославии 7 июня 1946 г. С югославской стороны присутствовали Тито, Ранкович и Нешкович. Сталин, «обучая» их, как надо действовать, как надо брать власть в свои руки, в то же время говорил, что следует учитывать особенности каждой страны, изыскивать свои формы решения тех или иных проблем. Не исключено, что такие разговоры велись и с Готвальдом, Гомулкой и другими. Всем было понятно, что необходимы поиски своих путей. Поэтому здесь искать какие-то противоречия не приходится.

Противоречия возникли в сфере межгосударственных отношений, а партийная оболочка была использована как форма интернационализации конфликта. И Информбюро стало орудием такой интернационализации, втягивания в конфликт других социалистических стран.

Что же все-таки представлял собой этот конфликт? Конфликт сразу же принял форму столкновения двух командно-административных систем, а если более резко, то двух культов: Сталина и Тито. И личный момент здесь играл исключительно большую роль. Это обстоятельство нам безусловно тоже надо учитывать. Здесь мы не знаем многих фактов. Однако корни следует искать не в расхождениях, а в командно-административных системах. В этом плане хотелось бы еще раз обратить внимание на трехсторонние встречи в рамках отношений СССР, Югославии и Болгарии. Этот треугольник послужил исходной базой развития событий, приведших к конфликту. И надо еще разобраться в обстоятельствах того, как собственно произошло осуждение Советским Союзом высказанных Димитровым планов Балканской федерации и какова здесь роль Югославии¹.

¹ Этот вопрос подробно рассматривается в первом из серии документальных очерков о советско-югославском конфликте 1948—1953 гг., публикуемом в журнале «Рабочий класс и современный мир»; *Губианский Л. Я.* У начала конфликта: балканский узел (1990, № 2).

Вы говорите, что страны Центральной и Юго-Восточной Европы добровольно начали перенимать советский опыт, считая, что он себя полностью оправдал. Как с этим тезисом совместить тот факт, что, например, Димитров, вернувшись в Болгарию, вполне определенно выдвинул тезис о том, что форма советской власти для Болгарии неприемлема? Как совместить с этим, например, широко известную статью А. Аккермана о специфическом германском пути к социализму и первую программу Социалистической единой партии Германии? Как совместить с этим тезисом чехословацкую практику 1945—1948 гг.? И второе. Можно ли в условиях тоталитарной системы строго разграничить межпартийный и межгосударственный конфликты, если партийные и государственные органы тесно связаны между собой?

В. К. ВОЛКОВ

Тезис о том, что Болгария будет строить социализм без диктатуры пролетариата — сталинский, который Димитров опубликовал, так сказать, от своего имени. Такова историческая правда. Это как раз свидетельство того, что в тот начальный период еще не было уверенности, каки и что нужно строить. Общие направления и какие-то общие черты были заданы советской системой, но следует учитывать международный резонанс, присутствующую Сталину мимикрию, попытки закамуфлировать реальное развитие событий. Они и приводили вот к таким высказываниям Сталина, и он же побуждал к подобным высказываниям руководителей других стран. Это вовсе не означает, что они не действовали в то же время в направлении перенятия советского опыта. Да другого просто и не было, восприятие его было совершенно естественным. Поэтому можно сказать, что восточноевропейские коммунисты вышли из сталинской шинели.

Однако совершенно естественно, что в европейских странах советская система применялась не в том виде, в каком она сложилась у нас. В этих странах сохранились еще остатки гражданского общества. Существовали народные, отечественные и другие фронты, в которых коммунисты объединялись с другими партиями и вначале даже вынуждены были делить с ними власть. Только позднее они стали партиями-сателлитами. Все это было порождено своего рода попытками более гибко приспособить советскую систему к собственным условиям.

По второму вопросу. Что касается советско-югославского конфликта, то здесь, конечно, в начальный период, а именно в 1948 г., такого разграничения не было, конфликт носил межгосударственный характер, и лишь позже использование Информбюро для его интернационализации дало повод говорить о том, что противоречия первоначально возникли в области отношений между партиями. Я лично считаю такое разграничение вторичным.

Л. Я. ГИБИАНСКИЙ

В связи с вопросом М. П. Павловой-Сильванской я хотел бы обратить внимание на то, что ведь в 1945—1948 гг. в ряде восточноевропейских стран коммунисты еще только утверждались у власти. Мы оперируем понятием «социалистические страны», начиная практически с рубежа 1944—1945 гг., хотя для того времени так можно говорить, пожалуй, только о Югославии и, в какой-то мере, Албании. Но в большинстве остальных стран вопрос о характере развития окончательно решался позже, иногда вплоть до 1948 и даже 1949 гг. Например, в Чехословакии до февраля 1948 г. все еще шла борьба за власть. Здесь существовало действительное разделение власти. То самое разделение, которое Готвальд еще в 1945 г. определил по известной формуле: «Они не могут без нас, мы не можем без них, хотя они без нас не могут больше, чем мы без них». Потому-то в Чехословакии была несколько иная политика компартии, но речь шла лишь об особенностях ее деятельности при еще не освоенной полностью власти.

Хотел бы обратить внимание присутствующих на эволюцию исследований сталинизма и коммунизма вообще. В период «холодной войны» между марксизмом-ленинизмом и сталинизмом ставился знак равенства. В последние десятилетия на Западе такой упрощенный подход стал преодолеваться. Большая заслуга в этом принадлежит Роберту Синакери и его ученику Стивену Коэну. Для меня сталинизм это прежде всего состояние всеобщего страха, который неустанно воспроизводится уже с основной ячейки общества — семьи. Кроме того я считаю, что сталинизм как явление неоднороден: есть сталинизм людей подполья, сталинизм легальной оппозиции в парламенте (Франция), сталинизм гражданской войны, сталинизм у власти, сталинизм в условиях оккупации и т. д. Сталинизм приобретает особые черты, распространившись на ряд стран. Югославская компартия до 1948 г. уже была в значительной степени сталинистской, но только в сфере идеологии. У нас была в период войны и после разрыва с СССР интересная смесь сталинизма, «военного коммунизма» и патриотизма.

Л. А. ЛЮБИМОВ

Я хотел бы рассмотреть вопрос: есть ли шанс у общественных наук в соцстранах возродиться к жизни? Общественные науки в СССР и некоторых странах Центральной и Юго-Восточной Европы по-прежнему определяет четвертая глава «Краткого курса» истории ВКП(б), точнее — второй параграф этой главы, написанной лично Сталиным, которая начинается с фразы о том, что марксизм-ленинизм является идеологией марксистских партий. Таким образом, мы имеем дело не с наукой, а с идеологией.

Что же касается методологии общественных наук, то это истматовская методология. Суть ее составляет формационный подход, основанный на критериях собственности на средства производства и вытекающей отсюда дихотомии — производственные отношения, производительные силы и т. д. Я не хочу сказать, что эта методология полностью непригодна. Просто она одномерна, это градусник, при помощи которого можно выяснить температуру и больше ничего. Эта методология, кроме того, не дает универсального видения мира и исторического процесса. Ни мне, ни очень многим моим коллегам никто не докажет, например, что рабовладельческий способ производства существовал когда-либо в Азии или что феодальный способ производства существовал в Америке. Из этой схемы выпадают гигантские континенты. Но во многом здесь виноват не Маркс. Маркс — это признанная звезда первой величины в обществоведении человечества, никто с этим не спорит. Виноваты в этом мы, поскольку у Маркса, так же как и у Энгельса, взяли произведения, которые я иногда называю плакатными, такие как «Манифест Коммунистической партии», «Критика Готской программы». Что касается «Капитала», то не надо забывать, что у него есть второе название, на русском языке никогда не публиковавшееся. Звучит оно так: Опыт экономического исследования такой-то страны в такой-то промежуток времени. Из этого опыта российские вульгаризаторы Маркса сделали всеобщую Библию.

Осмелюсь напомнить, что у Маркса была совершенно другая методология, вовсе не та, которую развили и довели до крайней степени российские социал-демократы и их преемники, а та, которая проходит через огромное количество Марксовых трудов, начиная с «Критики немецкой идеологии» и кончая его последними работами.

Эта методология основана на социальной типологии исторического развития. Маркс считал, что есть три этапа и три основы исторического развития: природа, социально-экономические факторы и непосредственная социальность. Отсюда и три этапа — чистый биосоциальный этап, смешанный социально-экономический и дальше — этап непосредственной социальности. Ни один из факторов ни на одном из этапов не исчезает.

Я бы сказал, что это всегда многоугольник, но в вершине многоугольника появляется тот или иной фактор. Поэтому нужно раз и навсегда забыть о противопоставлениях типа социализм — капитализм. Если говорить о западном развитом мире, то он безусловно находится на грани социально-экономического этапа и этапа непосредственной социальности. Что мы будем дальше строить, не знаю, но мы поняли, что то, что мы строили, это тупик. Это поняли все страны, все народы.

Когда мы говорим о сталинизме, не следует забывать, что не Сталин создал два главных инструмента, которые обусловили дальнейшее 70-летнее развитие нашей страны. Они были созданы Лениным. Первый инструмент коротко можно назвать террором, второй инструмент — это номенклатура. Оба инструмента использовал Сталин. Не было бы Сталина, их использовал бы другой, поскольку взгляды членов маленькой большевистской партии в общем-то совпадали. Сегодня это ясно всем обществоведам мира, и только мы все отрицали благодаря наличию партийного аппарата, который ничего не понял и, смею вас заверить, ничего не поймет — такова уж российская традиция людей, стоящих у власти. Керенский тоже был неглупым человеком, но он так и не смог понять, что нужно сделать только один шаг — приостановить войну, точно так же, как этого не понял Николай II.

Если же говорить о самой системе, я считаю, что это не сталинизм, это ленинизм, а ленинизм — это вульгарно-леворадикальный марксизм, выросший на отечественной почве и распространенный затем силовыми методами на страны Восточной Европы в определенных исторических условиях.

Итак, социальная типология — вот понимание существа социально-экономического содержания исторического процесса, вот единственное и главное, что, может быть, даст нам возможность совершенно по-другому развивать наши общественные науки.

М. Джилас сказал, что сейчас идет много разговоров о том, что Запад поможет Советскому Союзу в обмен на его «правильное поведение» в отношении стран Восточной Европы. Я все-таки хотел бы, чтобы мы не только перестали использовать эту дихотомию «социализм — капитализм» и обязательно противопоставлять США и Советский Союз, я хотел бы, чтобы мы научились видеть друг в друге что-то позитивное, не обязательно образ врага или образ друга, который завтра станет врагом. Говорят, что Запад может нам чем-то помочь в обмен на что-то. В этой связи я хочу привести в качестве примера «план Маршалла». В обмен на что США дали 17 млрд долларов Европе безвозмездно и 9 млрд в виде займов? В обмен на стабильность? Ничего подобного. США поставили перед Западной Европой одно условие: чтобы она восприняла ту, с точки зрения прав человека, политическую систему, которая существует в США с 1791 г., после принятия Билля о правах. Именно с этого момента Европа резко двинулась вперед. В Билле о правах заключен весь набор политических прав, которые ведут к созданию гражданского общества и правового государства. Поэтому я считаю, что не стоит ставить вопрос лишь о корысти Запада. США и в целом Запад в состоянии сделать определенные шаги не только «выгоды ради».

Л. Я. ГИБИАНСКИЙ

С точки зрения общих процессов то, что произошло в 1948 г., весь советско-югославский конфликт сегодня уже только исторический эпизод. Но на него нужно смотреть через призму современных событий в Восточной Европе, ибо это один из начальных моментов единого процесса, очевидцами завершения которого мы стали. Это первый случай конфликта в рамках определенной социальной системы, распространенной за пределы одной страны, это первый случай прямого отпора сталинизму и его поражения в сфере международных отношений, а может быть, и шире.

В этом конфликте имелись две стороны. С одной стороны, это была трагедия наших народов, разрыв их исторических связей. Но была и позитивная сторона, а именно поражение, которое в итоге потерпела сталинская

система в СССР от другой, с моей точки зрения, также сталинистской системы. Это столкновение, как никакое другое, оказало значительное воздействие на международное рабочее движение, на общественную мысль в разных странах. Оно в значительной мере способствовало дискредитации той системы отношений, того иерархического монолитизма, который возник в результате второй мировой войны в Восточной Европе, и который связывал весь этот регион с Советским Союзом в рамках определенного социального организма.

А как эта система возникла в Восточной Европе? По этому вопросу, как известно, существуют разные точки зрения. Согласно одной, много лет господствовавшей у нас, в этих странах в 40-х годах произошли революции, из этих революций вырос новый общественный строй, который называли социалистическим. Согласно другой точке зрения, произошло насильственное «одевание» восточноевропейских стран в новые одежды, а «портным» при этом был Советский Союз или, вернее, сталинистская система и тот правящий слой, который стоял во главе нее.

Но, на мой взгляд, этот процесс в разных странах протекал по-разному, несмотря на многие сходные черты. Были страны, и к ним прежде всего относится Югославия, где невозможно все свести к процессу «одевания в чужие одежды». Это было то, что мои югославские коллеги называют, и я думаю справедливо, автохтонной революцией. Это революция, выросшая изнутри, из определенного сплава национальной и социальной ситуации, сложившейся в годы войны, и то, что югославская модель также оказалась сталинистской, было обусловлено не тем, что кто-то извне ее навязывал, а теми общественными условиями, которые были тогда в стране. И, конечно, в огромной мере тем, что основы идеологии и организации народно-освободительного движения, которое в силу определенных обстоятельств возглавила и наложила на него наибольший отпечаток компартия, были сталинистскими. Другое дело, что, безусловно, на весь процесс в Восточной Европе воздействовал пример Советского Союза. Но в отношении Югославии говорить об «одевании в чужие одежды», мне кажется, неправомерно, равно как и в отношении Албании, хотя предстоит еще разобраться, в чьи вообще «одежды» «одевалась» Албания на рубеже 1944—1945 гг. и вплоть до 1948 г.

Что касается других стран, то здесь опять-таки существовали разные типы. Были страны, где эта «одежда», грубо говоря, просто навязывалась насильственным путем. Мы знаем пример Польши, где происходило то, что в свое время Гомулка стыдливо назвал «малой гражданской войной». Мы знаем пример Венгрии, где вплоть до момента, пока не удалось через мифический «заговор Ференца Надя» насильственным путем в течение двух лет разгромить всю существовавшую политическую структуру, коммунисты так и не сумели сосредоточить в своих руках власть. Но был и пример Болгарии, которая относится, с моей точки зрения, к смешанному типу, когда, с одной стороны, процесс вырастал известным образом изнутри, а, с другой — всячески насаждался извне. Соединение этих двух начал дало ту структуру, которая в итоге в Болгарии образовалась.

В югославской исторической и особенно в пропагандистской литературе существует схема советско-югославского конфликта, которая базируется на нескольких мифах, о чем говорил В. К. Волков. Однако эта схема на самом деле не югославского, а советского происхождения. Известно, когда начался конфликт, а он начался явно уже с обмена известными письмами между ЦК ВКП(б) и ЦК КПЮ, то в качестве основного выдвигался тезис, что югославская компартия по каким-то вопросам строительства социализма, а также взаимоотношений с социалистическими странами отходит от основополагающих истин марксизма-ленинизма.

Попутно я хотел бы коснуться вопроса: носил ли конфликт межпартийный или межгосударственный характер? Под межпартийным конфликтом у нас всегда понимался конфликт идеологический. Между тем никакого идеологического конфликта не было. Это был чистый фальсификат, мыльный пузырь, призванный скрыть конфликт в сфере межгосударственных отношений.

Итак, пропагандная схема, согласно которой причиной конфликта было то, что югославская компартия стояла на какой-то иной идейно-политической платформе, эта схема — советская. И до 1950 г. она резко опровергалась всей югославской пропагандой, утверждавшей, что компартия стоит на тех же самых основах марксизма-ленинизма. В качестве примера приводилась вторая национализация в апреле 1948 г., не имевшая прецедента ни в одной восточноевропейской стране, когда национализировано было все, как образно сказал, кажется, Антоние Исакович, вплоть до последней курицы. На втором пленуме ЦК КПЮ в феврале 1949 г. была объявлена коллективизация. То есть даже после конфликта все югославские усилия шли в том направлении, чтобы доказать, что КПЮ самая что ни на есть правоверная марксистско-ленинская партия.

И только когда эта позиция зашла в социально-экономическом и идейно-психологическом отношении в совершенный тупик, в Югославии возникла другая пропагандистская схема причин конфликта. Она была вызвана к жизни тем, что Югославия с 1950 г. постепенно вступала на путь определенного реформирования сталинизма, хотя можно спорить о мере этого реформирования. Но эта схема была, в сущности, той же советской, только перевернутой вверх ногами. Югославская компартия стала обвинять ВКП(б) — КПСС в том, что та сошла с платформы марксизма-ленинизма, а югославские коммунисты, как заявлялось, стоят на позициях истинного марксизма. И соответственно, если советская пропаганда представляла этот конфликт как якобы столкновение двух моделей, двух концепций социализма, то и югославская сторона встала на те же позиции. Эта схема стала основой всех работ, в которых рассматривался советско-югославский конфликт, вплоть до самого последнего времени.

Идеологические шоры мешают нам видеть истинную природу этого конфликта, выяснить его существо. В действительности же в Югославии практически не было тенденций, противоречащих сталинистской модели социализма. М. Джилас говорил, что были определенные несогласия по тем или иным вопросам. Это так, но они никогда не касались чего-либо серьезного, существенного. Когда в прошлом году в Югославии я был у М. Джиласа, он возразил против приписанной мне югославской печатью формулы, что это был «конфликт двух сталинизмов». Я ответил, что в действительности моя точка зрения заключается в том, что это было столкновение не столько двух сталинизмов, сколько в круге сталинизма. М. Джилас согласился с таким взглядом и добавил, что одновременно это было столкновение самостоятельной революции и самостоятельного государства с внешней силой, которая эту самостоятельность по тем или иным причинам решила разрушить и подчинить. Его уточнение мне кажется совершенно справедливым.

А. КРЕШИЧ

В первое время мы считали, что нет каких-то серьезных идеологических причин для возникновения конфликта между Советским Союзом и Югославией, нет ощутимых различий в политических позициях и интересах наших стран, что это конфликт личностей, конфликт между двумя руководителями. Идеологические различия появились позже, после резолюции Информбюро. По мере обострения конфликта росло сопротивление сталинизму и в идеологическом отношении. Но в Югославии были и такие формы сопротивления, которые можно охарактеризовать как реакцию сталинизма на сталинизм. Употреблялись сталинские репрессивные методы, оформилась монополярная диктатура партии и т. д.

Но постепенно мы начали трезветь, что привело к либерализации югославского общества. Мы выработали теорию самоуправления как иную форму социализма, отличную от версии сталинского типа. Однако наше самоуправление с самого начала было обременено «первородным грехом», введено сверху и не воспринято обществом как что-то ему имманентное. Самоуправление декларировалось как антитеза государственному управлению, эти понятия взаимоисключали друг друга. Но оно

так и осталось в недоразвитом состоянии. Создатели теории самоуправления с самого начала дозировали его в той мере, чтобы оно не могло угрожать их политической власти. В результате эта версия социализма, если вообще можно говорить о социализме, с самого начала была скомпрометирована. И в значительной степени не только в Югославии, но и во всем мире.

В конце 50-х — начале 60-х годов я написал книгу «Политическое общество и политическая мифология». В ней анализировались сталинизм и «хрущевизм», как я его назвал, в Советском Союзе, т. е. события, связанные с XX, XXII съездами КПСС. Я тогда пришел к выводу, что советское общество не имеет права называться социалистическим, что ему не хватает существенной и характерной черты для того, чтобы называться социалистическим обществом. Я его назвал обществом плутократии. В последующих своих работах я часто употреблял термин «плутократическое общество». Это общество, разделенное на слой привилегированных, т. е. плутократов, и их аппарата и слои подчиненные, лишённые привилегий. Именно такая природа этих обществ порождает эпизоды, которые, в общем-то, не соответствуют истинному социализму, подобные конфликту 1948 г.

Создателем социализма должен был быть пролетариат. Во всяком случае, так писали классики марксизма. Но пролетариат есть класс, который исчезает в современном обществе, по крайней мере в той форме, в какой он существовал во времена Маркса, Энгельса и даже Ленина. У него нет будущего. Пролетарии находятся на периферии современного производства, а истинным производителем является тот, кто воспроизводит хозяйственно-экономическую жизнь общества: кадры науки, специалисты, работающие с компьютерами, в лабораториях. Именно они являются носителями общественного воспроизводства, основными субъектами общественного производства. А противоречие между эксплуататорами и эксплуатируемыми — буржуазией и пролетариатом не является больше двигателем общественного развития. Современные противоречия носят персоналистический характер, ибо мир разделяется на тех, кто манипулирует, т. е. меньшинство, и тех, кем манипулируют, т. е. основную массу. Эта поляризация универсальна, и она определяет недовольство масс своим положением в современном мире. События 1968 г. на Западе и современные события в Восточной Европе подтверждают данную мысль. В Париже в 1968 г. хорошо оплачиваемыми рабочими «Рено» и студентами двигало не ощущение того, что они в социальном смысле находятся в неблагоприятном положении, им не нравилось, что ими манипулируют другие. Именно это и вывело их на массовые демонстрации. Нечто аналогичное можно увидеть и в современных событиях в странах Восточной Европы, но в меньшей степени — в Югославии и в Советском Союзе. Это до сих пор две страны, где реформы проводятся сверху, и именно поэтому они осуществляются очень медленно и трудно, в то время как в остальных странах изменения произошли под давлением снизу и потому были гораздо более радикальными и быстрыми.

М. П. ПАВЛОВА-СИЛЬВАНСКАЯ

Я абсолютно согласна с высказанным мнением, что 1948 г. нельзя рассматривать в двустороннем измерении. Мы тем самым очень резко снижаем значение всего того, что тогда происходило. Потому что 1948 г. — это вообще поворотный момент в истории Европы. Мне кажется, что суть этого поворота в том, что Ялта из некоего вербального соглашения, из некоей политической потенции в 1948 г. превратилась в понятие, которым сейчас пользуется весь западный мир. Раскол мира на два блока, конфронтация, от которой, наверное, больше всего пострадал Советский Союз и которая в конечном итоге оказалась нам не под силу, из которой мы сейчас стремимся выйти, сформулировав подлинные национальные интересы страны, — все это связано, по сути дела, с 1948 г.

С моей точки зрения, возвращаться сейчас к истории 1948 г. как к истории отношений между двумя партиями или между двумя государст-

вами не очень целесообразно, свое политическое значение они потеряли. Эти события мало чему нас могут научить. Это уже история.

Но есть вопросы, которые до сих пор сохраняют большую или меньшую актуальность. Один из них — это характер экономики в странах Восточной и Центральной Европы в 1945—1948 гг., проблема смешанной экономики. Что это такое: возможная модель социалистического развития или тоже какая-то иллюзия? На этот вопрос сейчас очень трудно ответить. Есть документальные подтверждения того, что вариант развития стран региона без Советов, без диктатуры пролетариата, со смешанной экономикой был согласован в Москве. Возможно, что тут со стороны Сталина действительно была мимикрия. Он себе это представлял как переходный период к своей модели социализма, а руководители компартий полагали, что это тот путь, по которому они пойдут.

Д. ЧОСИЧ

Я думаю, что идеологическая сторона советско-югославского конфликта недооценивается. Большевикизм, по моему мнению, это политическая религия. А в религиях всегда играли огромную роль маленькие ереси, которые, в свою очередь, рождали инквизицию. Различия во взглядах югославского руководства и Сталина существовали (во всяком случае в религиозно-политическом смысле), и они были достаточными для того, чтобы начался конфликт. Характеры же Сталина и Тито этот конфликт сделали более жестким. О том, что это был идеологический конфликт, говорит язык, который употреблялся во взаимном идеологическом и политическом сведении счетов. Это классический язык известных чисток.

Следует подчеркнуть, что конфликт нанес исключительно тяжелый морально-политический удар нашему революционному поколению и тем, кто участвовал в антифашистской борьбе во время второй мировой войны. Это были грандиозные человеческие трагедии, были уничтожены тысячи и тысячи людей. Этот удар вызвал усиление сталинизации Югославии в варианте, который я называю титоизм. Развитие культа личности Тито стимулировало развитие югославского национализма. Когда мы говорим о силе сопротивления Коминформу, то ее следует искать в патриотическом потенциале югославских народов, в общем стремлении к свободе, к национальной и государственной независимости, которую очень ловко использовали компартия Югославии и Тито.

Результатом конфликта была милитаризация Югославии. А милитаризация — это не только сильное антидемократическое явление, но и явление катастрофическое в экономическом плане. Резолюция Информбюро вызвала в Югославии и сильное разрастание репрессивного аппарата. Возникла система лагерей, своя Колыма, а может, и хуже. Возникла политическая полицейская служба, тесно переплетенная со структурами партии.

Было бы неверно не сказать и о позитивных тенденциях. Титоизм, на мой взгляд, был либерализованным сталинизмом. Он декларировал самоуправленческий, демократический социализм как цель. Это в известной мере влияло на демократизацию общества. Кроме того, конфликт привел к необычайно сильному изменению внешней политики Югославии, толкнул ее к движению неприсоединения. И хотя эта политика вела «к выходу Югославии из Европы» и к мегаломании Тито, его попытке играть роль мирового лидера в «третьем мире», она тем не менее способствовала открытости югославского общества.

Как ни парадоксально это звучит, но самый положительный результат от конфликта проявился в сфере культуры. Мы очень рано отказались от нормативной эстетики, провели дегабанизацию в искусстве. В результате мы имеем очень высокого уровня литературу, значительные достижения в науке.

Происходящие ныне события в Восточной Европе я бы оценил как крах большевистского социализма. Здесь говорилось, что в странах Восточной Европы происходит демократическая революция, я бы добавил —

и цивилизационная революция, потому что все общественное развитие после Октября не было магистральным путем развития мировой цивилизации. И не случайно в Восточной Европе самым модным сейчас является словосочетание «войти в Европу». Это означает присоединение к основным течениям мировой цивилизации, к завоеваниям общечеловеческой культуры, усвоение принципов демократии, соблюдение основных экономических законов, признание рынка и выход на свободный рынок. Что касается демократического социализма, то история дала уже недвусмысленный ответ — под властью коммунистических партий демократического социализма быть не может. Возможен ли он без коммунистических партий? На это ответит будущее.

М. ДЖИЛАС

Относительно формы конфликта. Мне кажется, в нем нельзя разделить партийную и государственную сферы. Ведь в тоталитарных государствах, по существу, правительства нет, правит партия, правящим органом фактически является Политбюро. Это, конечно, был конфликт двух командных систем, двух культов личности. Но в нашем сопротивлении были также и элементы патриотизма. Мы только что совершили революцию, мы все ощущали моральную ответственность за страну и не могли принять советские условия, выполнение которых означало бы потерю независимости.

Л. Я. ГИБИАНСКИЙ

Мне кажется, что многое из того, о чем мы спорим, связано с проблемой реальной истории и мифологии. Причем мифология получила распространение и среди тех, кто должен в силу своей специальности заниматься анализом исторического развития. Так возникают разного рода легенды, которые превращаются в достаточно устойчивые стереотипы, от которых многим очень трудно отказаться.

Например, что именно потерпело крах в Восточной Европе и том мире, который мы именовали социалистическим? Появился целый ряд определений: потерпел поражение сталинизм, государственный социализм, командно-административная система, казарменный социализм и т. д. и т. п. Согласно одной точке зрения, есть иной, истинный, не деформированный социализм, который будет все-таки развиваться. Другая точка зрения заключается в том, что потерпело поражение то, что называлось социализмом. Следовательно, социалистический путь развития оказался туиковым. Об этом можно спорить. Но я хотел бы спросить: не находимся ли мы в плену мифологии, изучая запах цветов, которые никогда не цвели? Ведь никакого другого «истинного» социализма, который, как нас уверяют, должен быть, на деле пока что не было.

Мифология существует не только на общетеоретическом уровне, она очень сильно проявляется и на уровне конкретно-историческом. Здесь говорилось о том, что 1948 г. был поворотным для всего континента и явился фиксацией того раскола Европы, который вербально был обозначен в Ялте. На мой взгляд, это тоже миф, рожденный пропагандой на Западе. Тот, кто хорошо знаком со всем пакетом документов Ялтинской конференции, знает, что никаких подобных решений там не принималось. Разъединение Европы после войны ведет свое начало не от Ялты, а от того конкретного положения, которое сложилось здесь на рубеже 1944—1945 гг. Миф же о Ялте родился как антирузвельтовский в период возникновения «холодной войны».

Теперь о другом мифе, о том, что 1948 г. был поворотным в истории Европейского континента. На самом деле события этого года лишь окончательно оформили и завершили процесс, начавшийся на рубеже 1944—1945 гг. В этой связи я хотел бы сказать, хотя, конечно, и не могу выносить окончательного суждения, что в 1945—1948 гг. никакой другой альтернативной общественной формы, т. е. так называемой народной

демократии, которая бы противостояла сталинистской модели, в странах Восточной Европы не было. Это скорее желание определенных слоев интеллигенции, историков в том числе, в период общественного кризиса в этих странах опереться на своего рода, если можно так выразиться, прецедент исторического права. В тех странах, в которых коммунисты не могли прийти к власти сразу, они шли к ней постепенно, через цепь различных акций. Плюрализм в этих странах действительно существовал и в экономической, и в политической сферах, но вызван он был просто тем, что коммунисты не обладали полнотой власти. Когда же полнота власти оказалась в их руках, с плюрализмом было немедленно покончено. Яркий тому пример, о котором я уже говорил, — Чехословакия. Поэтому 1948 г. скорее явился окончательным оформлением и укреплением поворота 1944—1945 гг. И все же 1948 г., конечно, крупная вежа. Уже после окончания советско-югославского конфликта, с середины 50-х годов, в странах региона была целая серия попыток освободиться от сталинской модели. Но первая серьезная попытка, хотя и очень своеобразная, это советско-югославский конфликт 1948 г. Однако тут нужно различать две стороны сталинизма. С одной стороны, это внутренний общественный порядок. А с другой — то внешнее, что называлось мировой социалистической системой или содружеством (названия выдумывались разные, в зависимости от конкретной ситуации). Конфликт 1948 г. был попыткой югославского руководства противостоять внешней ипостаси сталинизма, не допустить поглощения Югославии системой иерархического монолитизма в форме мировой социалистической системы или лагеря, как тогда говорили. Но с точки зрения внутренней модели этот конфликт не был столкновением двух концепций социализма. Именно в таких системах, какими являются сталинистские, казалось бы незначительные события, столкновения сиюминутных мелких интересов, личных симпатий и антипатий приобретают невероятные размеры, ибо эти системы по своей природе являются системами социального и политического произвола; как раз эта возможность произвола, абсолютно неадекватной реакции на некоторые явления относительно незначительного порядка, на мой взгляд, и лежала в основе конфликта 1948 г. В этом смысле данный конфликт — абсолютное порождение сталинизма.

М. ДЖИЛАС

Я хочу вкратце остановиться на проблемах социализма. По этому вопросу у меня иные взгляды, чем у большинства советских обществоведов.

Начну с утверждения, что сталинизм не существует, это выдумка западных средств информации, удобная для объяснения той системы, которая существовала в СССР и остальных восточноевропейских соц-странах. На мой взгляд, сталинизм — продолжение системы, созданной Лениным. Я не хочу сказать, что Ленин и Сталин это одно и то же. Но я думаю, что отделение «хорошего Ленина» от «плохого Сталина» ведет в тупик, из которого нет выхода, кроме повторения катастрофических ошибок, которые мы наделали. После смерти Ленина появилось несколько течений, возглавлявшихся такими личностями, как Троцкий, Бухарин, Сталин. Во взаимной борьбе победило то течение, которое было наиболее реалистическим, опиравшимся, в сущности, на основы режима, созданного после Октябрьской революции. В свою очередь, корни ленинизма — в революционном учении Маркса. Это не умаляет величия Маркса и Ленина. Я не знаю политической фигуры XX в. крупнее фигуры Ленина. Точно также я не знаю социолога, который в XIX в. сыграл бы такую огромную роль, как Маркс. Но Маркс, по моему мнению, — не философ, не ученый. Хотя его методология научна на уровне XIX в., его образ мира — утопический. И вот это слияние утопизма и научной методологии дало огромную силу левому революционному рабочему движению в русской революции.

Коммунизм — это утопия, но утопия не в смысле религиозном или гуманистическом. Это научная утопия, с научной методологией, точнее цель утопическая, а методология научная.

Социализм, построенный в СССР и восточноевропейских странах, не соответствует теории Ленина. Преимущество капитализма над социализмом состоит в том, что капитализм никто не выдумал, сидя в кабинетах, он возник сам, через борьбу и революции, через религиозные войны и эксплуатацию. Так какая же система возникла в Советском Союзе и странах Восточной Европы? По моему мнению, это промышленно-индустриальный феодализм или нечто похожее. Нет никакой социалистической собственности. Это фикция, есть собственность, которой распоряжается в соответствии со своими интересами партийно-государственный аппарат, и в этом смысле она коллективная. Но, согласно римскому праву, собственность принадлежит тому, кто ею распоряжается. А ею распоряжается партийно-бюрократический аппарат, и следовательно она есть партийно-бюрократическая собственность. Все в соцстранах зависит от власти, потому что это тоталитарная власть. И только изменение политической надстройки приведет к изменению форм собственности. Это могут быть частная, кооперативная, государственная и другие формы, которые мы сейчас даже не можем предусмотреть. Социализм возможен в рамках такого общества, которое будет похоже на западное и которое на Западе создают социал-демократы.

Е. А. АМБАРЦУМОВ

Я в основном согласен с тем, что сейчас говорил М. Джилас. Хотелось бы только внести уточнения в отношении политической значимости фигуры Ленина. Ленин пересмотрел Маркса в позитивном направлении, в связи с нэпом, отказавшись от утопии нерыночного хозяйства. Трудно сказать, в каком бы направлении развивалась мысль Ленина, но экстраполируя его идеи, зафиксированные в последних работах, можно сказать, что он двигался в направлении признания целесообразности и полезности гражданского общества, по крайней мере, в экономической сфере. Но, он, конечно, не был демократом, был убежден в необходимости монополюсной власти партии.

В отношении реальной альтернативы Сталину. Было что-то вроде бухаринско-чаяновской альтернативы — развитие опоры на мелкого собственника. Не было фатальной предопределенности победы сталинизма. Борьба шла острая, в процессе ее колебалось само положение Сталина, в Политбюро он зависел от голосов Ворошилова, Калинина, которые, кстати, могли избрать и другой путь. Но тут проявилось мастерство его политической, а точнее мафиозной тактики.

Теперь что касается Маркса. Маркс, опираясь на гегельянство с его моделью абсолютного общества, выработал свою коммунистическую доктрину, другим источником которой послужила коммунистическая утопия, которая, кстати, никогда не была демократической. Вспомним Мора, Кампанеллу, чьи модели общества были тоталитарными. Кроме того, доктрина Маркса изначально исключала моральные параметры. Продолжая его, Ленин говорил, что морально все то, что служит построению социализма. Это явилось, по существу, основой сталинского аморализма, с чем мы должны сегодня покончить, совершенно откровенно критикуя в этом смысле и Маркса, и Ленина.

М. Джилас писал в своей книге, что наше общество — общество государственного капитализма, сейчас он говорит, что, возможно, это общество типа феодального. Я думаю, что у нас нет и не было социализма. Мы двигались в 20-е годы к нему, а потом пошли не в ту сторону. Наше общество невозможно классифицировать и детерминировать в каких-то старых понятиях. Это невиданное в истории общество, там есть элементы феодального социализма, есть элементы государственного социализма, есть элементы идеологических иллюзий, которые сейчас разрушились. Беда в том, что у нас действительно бесклассовое общество, которое создал Сталин, продолжали его создавать Хрущев и Брежнев. Мы, например, утратили класс крестьянства, а вместе с ним и продукты. Общество превратилось в груду песка. Индивид практически незащищен перед госу-

дарством и партией, он был лишен всяких гражданских связей. Я считаю, что мы можем стать нормальным гражданским обществом, мы начали этот процесс. Куда он пойдет? Возможно, в сторону социал-демократизма. Сейчас очень важно вспомнить о таком направлении в марксизме, как бернштейнианство, его лозунге социализма «движение — все, конечная цель — ничто». Важно не общество, построенное по какому-то плану, а движение. Потому что коммунизм, с моей точки зрения, утопия. Но борьба против угнетения, против эксплуатации должна быть, хотя я не думаю, что можно создать общество, где вообще не будет эксплуатации.

Я согласен, что сейчас разрушается ленинско-сталинский социализм, уточнив, что скорее сталинский, чем ленинский. Но нельзя сказать, что не остается камня на камне. Я бы обратил внимание на те процессы, которые зарождаются, а именно реакцию на попытку одним махом ввести рыночную экономику. Вы знаете, что сейчас происходит в Польше. Начинаются забастовки горняков, появились надписи: «Коммуна, возвращайся!». Укрепляется позиция профцентра, возглавляемого Медовичем. В СССР тоже есть похожие процессы, когда какая-то часть трудящихся группируется вокруг инспирированных консервативно-бюрократическими силами так называемых «фронттов трудящихся». Это все очень серьезно, важно вырабатывать терпимость, взаимопонимание, общественный консенсус, возродить моральные ценности, которые были, к сожалению, отвергнуты марксизмом.

М. П. ПАВЛОВА-СИЛЬВАНСКАЯ

Я хотела бы коснуться вопроса о капитализме с социал-демократическим лицом. Капитализм далеко не всегда может быть таким. Капитализм, или рыночное хозяйство, развивается по синусоиде. И есть такие периоды, когда задачи экономического прогресса могут быть решены только неоконсервативными или неолиберальными средствами. Поэтому есть периоды, когда капитализм может приобрести социал-демократическое лицо, но есть моменты, когда объективно и не может.

Д. ЧОСИЧ

Хотел бы остановиться на вопросе о характере югославской революции. Я считаю, что это была народная революция. Компартия во время войны никогда своей целью не провозглашала социализм, и если народ в ходе борьбы погибал под руководством компартии, то погибал вовсе не за социализм. Основой нашего восстания был антифашизм. Отсюда огромной силы патриотизм и русофильство, и лишь затем советофильство. Контрреволюционное движение четников поняло, что мы стремимся к власти, именно они говорили о том, что коммунисты хотят установить советские порядки. Мы же клялись, что хотим только изгнать оккупантов и на свободных выборах позволить народу избрать тех, кого он хочет, даже, может быть, короля. С такой макнавеллистской идеологией нельзя сделать никакой социалистической революции. Социалистическая революция должна иметь свою этику. Наша революция — это народная революция. Королевская Югославия потерпела крах, она была нежизнеспособной. И народ хотел изменений. Но народная революция — не то же самое, что социалистическая революция.

Вожди нашего восстания, вожди партии, народно-освободительной войны и антифашистской народной революции были ординарными сталинистами. Эти люди ничем не доказали после войны, что хотят построения действительно социалистического общества. Ведь они повторяли советскую модель государства, советскую модель решения национального вопроса, советский принцип политической структуры, где компартия одна находится у власти. Вся мораль, вся система привилегий номенклатуры, репрессии — все это было из сталинского порядка, из сталинского устройства.



Дьяков В. В. А.

О ЗНАЧЕНИИ МАРКСИЗМА ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Нет никакого сомнения в том, что марксизм оказывал и оказывает большое влияние на общественную жизнь человечества, содействовал и содействует прогрессу во всех областях научного познания. С теми или иными оговорками это признают сейчас даже его завзятые идейно-политические противники. Творческое освоение марксизма благотворно влияет на историческую науку. Вот что пишет об этом польский историк Е. Топольский — автор ряда теоретических работ, широко известных не только в стране, но и за ее пределами. В первом издании книги «Методология истории», вышедшем в 1968 г., говорится следующее: «Исторические исследования, опирающиеся на диалектическую модель познания, приобретают в мире все более широкое признание. Кроме ученых социалистических стран, значительные группы историков в других странах высказываются за марксистскую интерпретацию исторического процесса и диалектический метод. Первыми писали историю в соответствии с диалектико-материалистической моделью деятельности рабочего движения, в частности, наиболее выдающийся из них — В. И. Ленин ... После второй мировой войны наступил период большого оживления научных поисков в этой сфере. Новым стимулом для развития диалектического направления в истории стало осуждение культа Сталина, вписавшего догматизм в общественные науки» [1].

Действительно, догматически-начетнический подход к творческому наследию классиков марксизма сильно тормозил научный прогресс, особенно в странах социализма, в том числе в Советском Союзе. Общественные науки долгое время развивались у нас под влиянием насаждаемого сверху убеждения в том, что каждое слово К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, касающееся исторического прошлого или путей развития человеческого общества, является единственно возможной и окончательной научной истиной. Случалось, что в своих концепциях исторического процесса советские историки опирались не только на обоснованные научными аргументами обобщающие суждения классиков марксизма, но и на отдельные их замечания, высказанные мимоходом и не подкрепленные фактическим материалом из достоверных первоисточников. Сколько было таких статей и монографий, которые считались исследовательскими, хотя в них практически отсутствовал анализ фактов, а решающую роль в аргументации играли цитаты из классиков марксизма, нередко оторванные от контекста и трактуемые весьма расширительно. Забывая, что наука не может развиваться без тщательного учета результатов всех проведенных ранее исследований, наши специалисты заявляли иногда, что подлинно научного уровня историческое познание может достигнуть лишь с освоением марксистской методологии.

Дьяков Владимир Анатольевич — д-р ист. наук, ведущий сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

Развернувшаяся в нашей стране революционная перестройка и аналогичные сдвиги в восточноевропейских странах не только вызвали необходимость перемен в обществоведении, не исключая, разумеется, истории, но и создали для этого благоприятные условия. Плачевное состояние нашей исторической науки, о котором так много сейчас говорят и пишут, обусловлено отсутствием доступа к некоторым важнейшим источникам, заданностью тех научных оценок и выводов, которые историки вынуждены были делать не на основе фактов, а исходя главным образом из идейно-политической атмосферы в стране и последних партийных решений. От такой «методологии», разумеется, нужно отказаться. Но для отречения от творческого марксизма, внесшего очень весомый вклад в развитие исторической науки, нет никаких оснований. Ведь как бы ни были хороши ставшие «криком моды» труды таких представителей нашей дореволюционной историографии, как Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, они не могут заменить исследований, учитывающих не известный ранее фактический материал и соответствующих современному уровню науки.

На словах мы давно уже боремся с догматически-начетническим марксизмом, но результаты пока еще весьма незначительны. Для того чтобы по-настоящему двинуться вперед, необходим коренной пересмотр отношения к теоретическому и конкретно-историческому наследию классиков марксизма. Их произведения не следует воспринимать так, как верующие воспринимают священное писание. Тексты К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина мы должны тщательно учитывать, разрабатывая методологические, историографические и источниковедческие аспекты каждой рассматриваемой проблемы, но использовать их следует не как нечто непогрешимое и самодовлеющее, а в строго научном сопоставлении со всеми накопленными знаниями.

Такой подход вполне соответствует пониманию роли марксистско-ленинской теории самими ее создателями. В «Анти-Дюринге» (1877—1878), характеризуя свой и К. Маркса научный метод, Ф. Энгельс писал: «...Принципы — не исходный пункт исследования, а его заключительный результат; эти принципы не применяются к природе и к человеческой истории, а абстрагируются из них; не природа и человечество сообразуются с принципами, а, наоборот, принципы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и истории» [2, т. 20, с. 34]. Позже, в письме К. Шмидту от 5 августа 1890 г., Ф. Энгельс писал: «Вообще для многих молодых писателей в Германии слово „материалистический“ является простой фразой, которой называют все, что угодно... Однако наше понимание истории есть прежде всего руководство к изучению, а не рычаг для конструирования на манер гегельянства. Всю историю надо изучать заново, надо исследовать в деталях условия существования различных общественных формаций, прежде чем пытаться вывести из них соответствующие им политические, частноправовые, эстетические, философские, религиозные и т. п. воззрения» [2, т. 37, с. 371].

Можно привести и такие слова Ф. Энгельса: «Для диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого» [2, т. 21, с. 276]. В статье «О некоторых особенностях исторического развития марксизма», написанной в 1910 г., В. И. Ленин специально подчеркнул способность марксизма к совершенствованию под воздействием исторического процесса. При этом он заявлял, что учение Энгельса и его знаменитого друга — не догма, а руководство к действию. «В этом классическом положении, — писал В. И. Ленин, — с замечательной силой и выразительностью подчеркнута та сторона марксизма, которая сплошь да рядом упускается из виду. А упуская ее из виду, мы делаем марксизм односторонним, уродливым, мертвым, ...мы подрываем его связь с определенными практическими задачами эпохи, которые могут меняться при каждом новом повороте истории» [3, т. 20, с. 84]. Сравнение различных исторических событий дело рискованное, по думается, что революционная перестройка в нашей стране, начавшаяся в 1985 г., вылилась в социально-политические и экономические перемены, не менее масштабные,

чем та «резкая смена условий», которая произошла в России после поражения первой русской революции.

Не декларативное, а подлинное освобождение от стереотипов и навыков догматически-начетнического марксизма в исторической науке — это трудный и длительный процесс. Он касается различных сторон исследовательской работы, затрагивает великое множество более или менее важных явлений из экономической, социально-политической и культурной сфер, включает в себя едва ли не бесконечный ряд конкретных событий и отдельных деятелей прошлого. Процесс очищения должен охватить все основные научные направления, хронологические периоды, территориальные и тематические комплексы. Настоящая работа не претендует на такие масштабы. Ее задача гораздо скромнее. Она заключается лишь в общей постановке темы, в попытке с помощью нескольких, предельно лаконичных примеров, показать необходимость и возможность нового подхода к использованию марксизма в исторической науке.

1. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин относятся к числу наиболее одаренных в интеллектуальном смысле и наиболее высокообразованных людей своего времени. Есть немало таких областей обществоведения, в которых они работали профессионально и внесли весьма значительный научный вклад. При всем том они были прежде всего и главным образом политическими деятелями, тратившими большую часть своих сил и способностей на политическую борьбу и руководство революционным рабочим движением. Научные проблемы политэкономии, философии, социологии, истории интересовали классиков марксизма прежде всего именно в данном качестве, и это неизбежно накладывало более или менее существенный отпечаток на результаты их изысканий. Большое влияние оказывало и то, что активные участники революционного движения, крупные партийные и государственные деятели стран Центральной и Юго-Восточной Европы составляли большинство среди тех, кто пытался развивать или пропагандировать марксистско-ленинскую теорию. Не удивительно, что со временем историческая наука в Советском Союзе, в других социалистических странах в весьма сильной степени подверглась идеологизации и политизации.

Это прежде всего повлияло на тематику проводимых исследований. Вполне понятное и плодотворное на первом этапе выдвижение социально-экономической проблематики, повышенный интерес к различным проявлениям классовой борьбы, к истории левых течений в общественном движении постепенно деформировали поле зрения ученых. Необходимого внимания была лишена значительная часть политической и культурной истории, деятельность умеренных и консервативных сил общества, монархов, крупных феодалов и других видных представителей эксплуататорских классов; без этого история стала безликой и скучной. Оказало влияние и то, что, следуя слишком прямолинейно понимаемому принципу партийности, исследователи зачастую отказывались от научной объективности в описании исторических событий, безоговорочно одобряя одну из борющихся сторон и неизменно осуждая другую. Историкографические обзоры принимали нередко форму не научной, а политической полемики, при этом у единомышленников положительно оценивалась каждая мелочь, а авторы, мыслящие по-иному, без особой аргументации относились к числу прямых идейных противников марксизма или в рубрику буржуазных объективистов.

2. В произведениях основоположников научного социализма имеется достаточно материалов для доказательства того, что они, подчеркивая первостепенное значение базиса, отчетливо признавали большое, временами решающее воздействие надстроечной сферы на процесс общественного развития. Излагая суть материалистического понимания истории в письме к Й. Блоху от 21(22) сентября 1890 г., Ф. Энгельс заявлял, что они с К. Марксом говорили об определяющем воздействии базиса на историю, имея в виду конечный результат, а не каждое отдельное событие. «Если же, — писал он, — кто-нибудь искажает это положение в том смысле, что экономический момент является будто *единственно*

определяющим моментом, то он превращает это утверждение в ничего не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу. Экономическое положение — это базис, но на ход исторической борьбы также оказывают влияние и во многих случаях определяют преимущественно *форму* ее различные моменты надстройки: политические формы классовой борьбы и ее результаты — государственный строй, установленный победившим классом после выигранного сражения, и т. п., правовые формы и даже отражение всех этих действительных битв в мозгу участников, политические, юридические, философские теории, религиозные воззрения и их дальнейшее развитие в систему догм». В то же время Энгельс признавал свою и Маркса частичную вину в том, что некоторые из их последователей преувеличивают значение экономической стороны. «Нам приходилось, — заявлял он, — ...подчеркивать главный принцип ... и не всегда находилось время, место и возможность отдавать должное остальным моментам, участвующим во взаимодействии» [2, т. 37, с. 394—396].

Аналогичным образом оценивалось взаимодействие базиса с надстройкой и в произведениях В. И. Ленина. Однако впоследствии у очень многих популяризаторов марксизма-ленинизма не хватало умения или желания диалектично трактовать характер этого взаимодействия. Объективные условия и нужды политической борьбы в течение длительного времени выдвигали базисные явления на первый план их теоретических исканий и практической деятельности, что приводило к недооценке роли надстройки, создавало впечатление о ее полной зависимости от базиса. В широком распространении такого подхода не только в политических, но и в научных кругах решающую роль сыграли Сталин и сталинизм. Суррогат марксизма, внедренный в сознание советских людей, послужил идейным основанием тех извращений в социалистическом строительстве, для ликвидации которых потребовалась ныне революционная перестройка.

Преувеличивая роль экономического фактора, советская историческая наука долгое время не уделяла достаточного внимания изучению национального аспекта исторического процесса, предвзято подходила к национальным движениям, в которых выпячивались негативные черты, любые проявления национального самосознания отождествлялись с национализмом. В последние десятилетия развернулась борьба против этих перекосов, но их последствия дают о себе знать и в настоящее время. Речь идет, в частности, об изучении процесса формирования наций и национального самосознания. Если советские ученые внесли заметный вклад в исследование данной проблематики применительно к южным и западным славянам, то в отношении восточных славян сделано пока очень мало. У нас практически нет, например, сколько-нибудь серьезных трудов о том, когда и как сложилось национальное самосознание русского народа, какие этапы прошла в своем развитии и какие особенности имела русская национальная идеология.

За последние годы на страницах ряда наших периодических изданий, главным образом литературных или литературоведческих, прошла острая дискуссия о понятии «национальная культура», о правомерности внутреннего деления каждой из национальных культур на составные части по классовому признаку [4]. Литературовед В. Кожин, историк А. Кузьмин и другие ратовали за коренной пересмотр ленинского положения о двух культурах в каждой национальной культуре, а литературовед Ю. Суровцев, философ С. Калтахчян и их сторонники отстаивали правомерность этого положения. Несколько скандальный тон придали дискуссии групповые симпатии и антипатии, явное нежелание участников держаться в должных рамках свой полемический запал; обе стороны не смогли или не пожелали отказаться от догматически-начетнических приемов аргументации. Но дело не в форме дискуссии, а в ее научном содержании.

Надо признать, что понятие «национальная культура», как и многие связанные с ним вопросы, еще недостаточно разработаны в нашем обществоведении. Речь идет не только о тщательном и непредвзятом изучении всех относящихся к проблеме ленинских высказываний, но и о более глубоком, сопоставительном анализе конкретного материала, характеризую-

щего развитие национальных культур в классово-антагонистических и социалистических условиях. Социально-экономические и политические предпосылки социалистической революции тщательно изучены, а ее культурные предпосылки почти совсем не известны. Между тем их исследование несомненно помогло бы, с одной стороны, уяснению взаимодействия между буржуазной и демократической культурами до социалистической революции, с другой — решению вопроса о путях и результатах освоения культурного наследия предшествующего периода для социалистического общества.

Представляется, что именно обращение к этому жизненному материалу позволило бы вывести спор за рамки пустого жонглирования ленинскими высказываниями, каждое из которых было обусловлено конкретными коллизиями идейно-политической борьбы и затрагивало лишь отдельные стороны понятия «национальная культура». В частности, накануне первой мировой войны в работах В. И. Ленина речь шла о национальной культуре как солидаристском политическом лозунге, включавшем требование национальной автономии. Отсюда — усиленная акцентировка классовой обусловленности основных проявлений культурной жизни общества, вылившаяся в формулу о двух культурах в каждой национальной культуре. В первые годы Советской власти проблема «национальной культуры» повернулась для В. И. Ленина другой стороной — встал вопрос о переработке и использовании культурного наследия прошлого для развития национальных культур в социалистическом государстве. Правильное представление о ленинской концепции национальной культуры может дать не противопоставление двух указанных аспектов, а вдумчивое сопоставление ленинских мыслей о них, а также тщательное изучение того исторического материала о культурном строительстве в странах Восточной Европы, который накопился после смерти В. И. Ленина.

З. К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали развитие человеческого общества как естественно-исторический процесс, обусловленный объективными закономерностями. И у основоположников научного социализма, и у В. И. Ленина имеется масса высказываний о том, что речь идет о закономерностях общего характера, которые вовсе не исключают более или менее крупных исторических событий, выпадающих из основного русла истории, оставляют определенную свободу действий для отдельной личности. По словам В. И. Ленина, бесконечно разнообразные действия «живых личностей» марксизмом «были обобщены и сведены к действиям... *классов*, борьба которых определяла развитие общества. Этим был опровергнут детский-наивный, чисто механический взгляд на историю субъективистов, удовлетворявшихся ничего не говорящим положением, что историю делают живые личности, и не хотевших разобрать какой социальной обстановкой и как именно обуславливаются их действия» [3, т. 1, с. 430].

К сожалению, среди марксистских историков, в том числе советских, довольно широкое распространение получило унаследованное от сталинских времен и до сих пор не изжитое догматически жесткое толкование детерминизма в истории. Оно выражается, с одной стороны, в попытках механически вывести мировоззрение и поступки отдельной личности из ее социальной принадлежности, с другой — в практически полном нежелании учитывать наличие тех альтернативных вариантов в историческом процессе, которые постоянно создаются жизнью и существуют более или менее продолжительное время, но далеко не всегда в достаточной мере учитываются как различными политическими деятелями, в том числе последователями марксизма, так и учеными-марксистами.

Представляется, что достаточно убедительным и интересным примером, подтверждающим сказанное, может служить оценка путей развития Европы в середине XIX в. В нашей историографии практически безраздельно господствует концепция, что главным, достаточно реальным и единственным ориентиром прогресса являлась в то время общеевропейская революция, возглавляемая рабочим классом капиталистически развитых стран Запада. Эта концепция полностью совпадает с оценкой обстановки в Европе К. Марксом, Ф. Энгельсом и их единомышленниками. Такое по-

нимание сути происходивших событий было обусловлено их идейными позициями и степенью осведомленности о положении в восточноевропейском (остальбском) регионе, а также объективными историческими условиями и состоянием общественных наук в середине XIX в. Однако сам ход истории и знания, накопленные общественными науками за последнее столетие, не только позволяют, но и обязывают нас взглянуть на факты другими глазами. При этом мы не сможем не заметить, что путь, предлагавшийся К. Марксом и Ф. Энгельсом, не был единственным, а существовала историческая альтернатива, связанная с буржуазно-демократическими и национально-освободительными движениями, сила которых нарастала с начала XIX в. и к его середине достигла весьма значительного уровня.

Восточноевропейскую альтернативу развития Европы довольно подробно разработал в конце 40-х годов М. А. Бакунин. Он рассчитывал объединить силы национально-освободительных движений Центральной и Юго-Восточной Европы, разрушить Австрийскую, Прусскую и отчасти Османскую империи, чтобы на их месте создать республиканскую федерацию народов, освободившихся от национального и феодального гнета, в основном, но не исключительно, — славянских. Предлагаемая такой план, М. А. Бакунин надеялся на демократическую революцию в Российской империи и на сотрудничество с революционно-демократическими и социалистическими кругами стран Западной Европы. Идею революционного сотрудничества угнетенных народов Центральной и Юго-Восточной Европы он активно пропагандировал во время революции 1848—1849 гг., но результаты его усилий были довольно ограниченными, хотя отдельные народы продолжали борьбу, завершившуюся со временем достижением полной или частичной независимости.

Основоположники научного социализма не игнорировали национально-освободительные и демократические движения, но и не рассматривали их как значительную самостоятельную силу, олицетворяющую наличие альтернативного по отношению к предлагаемому ими пути исторического процесса. Силу эту они явно недооценивали, всерьез воспринимали лишь борьбу польского и венгерского народов, а часть славянских народов необоснованно называли обломками наций, лишенных шансов на самостоятельную государственность и не имеющих исторического будущего. Эти прогнозы не оправдались, что подтверждает определенную жизненность альтернативы, которую видел М. А. Бакунин, но не учитывали К. Маркс и Ф. Энгельс. Думается, что позиции сторон отразили две основные тенденции, противоборствовавшие и взаимодействовавшие в историческом процессе второй половины XIX и начала XX в. Реальность, как теперь мы можем судить оказалась чем-то третьим, включающим существенные элементы обеих тенденций, но не совпадающим ни с одной из них.

4. К изложенной проблеме общеевропейского масштаба примыкают два вопроса более частного характера. Первый связан с отношением основоположников научного социализма к «панславизму» в целом, в том числе к «демократическому панславизму» М. А. Бакунина. Термин «панславизм», пришедший к нам из западной, в основном немецкой публицистики 40-х годов XIX в., ненаучен, поскольку не имеет точного и однозначного содержания. Панславизм можно было бы идентифицировать с политически нейтральной идеей славянской общности или славянского единства, если бы с момента своего появления этот термин не получил односторонне негативной оценки. Между тем славянская идея по-разному интерпретировалась различными идейно-политическими течениями и судить о прогрессивности или революционности этих концепций можно только в сопоставлении их с конкретными историческими условиями (см. подробнее [5]).

Тот альтернативный вариант демократизации Европы, который М. А. Бакунин противопоставлял отстаиваемой К. Марксом и Ф. Энгельсом концепции общеевропейской революции, был основан на истолкованной с революционных позиций идее славянского единства. По убеждению М. А. Бакунина, народы, входящие в «великую вольную славянскую федерацию», должны объединиться на основе принципов общего равенства, свободы и братской любви, на основе уничтожения крепостного права

и сословных различий, предоставления каждому из граждан права на получение собственного земельного участка в любой из славянских земель по его выбору. Мир, рассуждал Бакунин, разделен на два лагеря — революционный и контрреволюционный; славяне, защищая собственные интересы, должны вместе с немцами и венграми добиваться всеобщей федерации европейских республик; вообще, полагал он, славянам следует быть друзьями и союзниками всех народов и партий, сражающихся за революцию. При всем том мировоззрение Бакунина имело черты славянского мессианизма: «Последние пришельцы в развитии европейского образования, славяне чувствуют себя призванными к осуществлению того, что другие народы Европы приготовили через свое развитие, то есть к осуществлению... гуманности, свободы и счастья всех» [6].

Идею славянского единства К. Маркс и Ф. Энгельс фактически отождествляли с панславизмом, который считали идеологическим и политическим оружием реакционных сил и прежде всего царизма. «Панславизм, — по словам Ф. Энгельса, — возник не в России или Польше, а в Праге и в Аграме (Загребе. — В. Д.). Панславизм — это союз всех малых славянских наций и национальностей Австрии и, во вторую очередь, Турции для борьбы против австрийских немцев, мадьяр и, возможно, против турок. ...Панславизм по своей основной тенденции направлен против революционных элементов Австрии, и потому он заведомо реакционен. ...Непосредственной целью панславизма является создание славянского государства под владичеством России от Рудных и Карпатских гор до Черного, Эгейского и Адриатического морей... А какие нации должны стать во главе этого большого славянского государства? Как раз нации, рассеянные и распыленные в продолжение тысячелетия... Эти остатки нации, безжалостно растоптанной, по выражению Гегеля, ходом истории, эти *обломки народов* становятся каждый раз фанатическими носителями контрреволюции и остаются таковыми до момента полного их уничтожения или полной утраты своих национальных особенностей...» [2, т. 6, с. 181—183].

Ныне полная несостоятельность таких оценок, высказанных Ф. Энгельсом в 1849 г., очевидна. Недостаточно обоснованным представляется и то, что революционно-демократическую концепцию М. А. Бакунина Ф. Энгельс счел возможным отнести к разряду прекраснородной болтовни, далекой от истинной революционности. «...В Восточной Европе, — писал он в статье „Демократический панславизм“, — все еще существуют фракции, якобы демократические, революционные фракции, которые продолжают... проповедовать евангелие братства европейских народов». Ф. Энгельс имел при этом в виду А. Ламартина и «некоторых невежественных мечтателей-немцев, например, г-на А. Руге и др.» и заявлял далее, что жизнь полностью дезавуировала их мечты, доказала необходимость не всеобщего братства, а боевого союза революционных народов против народов контрреволюционных [2, т. 6, с. 290]. Ход политической борьбы 1848—1849 гг. в Австрии и биография М. А. Бакунина не оставляют сомнений в том, что относящиеся к нему выводы и оценки Ф. Энгельса основаны главным образом не на достоверном фактическом материале, а на эмоциях, вызванных неточной информацией.

5. Некоторую связь с изложенным имеет вопрос о восприятии К. Марксом и Ф. Энгельсом основной направленности внешней политики России в конце XVIII и на протяжении XIX вв. Оба они ориентировались на общеевропейскую революцию, недооценивали размах и значение национально-освободительной борьбы народов восточноевропейского региона, смешивали идею славянского единства с реакционным панславизмом. Все это, а также убеждение основоположников марксизма в том, что объединение Германии должно осуществиться революционным путем — через создание немецкого демократического государства, обуславливало их внешнеполитические позиции. Естественно, что серьезную помеху своим планам они видели в реакционной политике России и Пруссии, политике, которая выражалась, в частности, в согласованных действиях по подавлению польского национально-освободительного движения, вызывавших возмущение европейской прогрессивной общественности. На немецких землях

это возмущение было особенно сильным потому, что сотрудничество с царизмом явно усиливало позицию Пруссии в ее борьбе с Австрией за ведущую роль в процессе объединения Германии. К тому же увеличение революционного потенциала рабочего класса Европы, особенно немецкого, во многом было связано тогда с ростом антипруссских и антироссийских настроений, что, несомненно, сказалось на тональности и содержании многих публицистических выступлений К. Маркса и Ф. Энгельса. Только всем этим да, пожалуй, еще воздействием негативного стереотипа России и русских в ментальности тогдашнего среднего европейца можно объяснить ту односторонне негативную оценку внешней политики царского правительства, которая содержится в их произведениях.

Для политической публицистики К. Маркса и Ф. Энгельса характерны утверждения о постоянном стремлении Российской империи к мировому господству, об угрозе «славянского наводнения» для немецких земель и Западной Европы в целом. Такого рода утверждения далеки от действительности едва ли не в большинстве случаев. Тезис о «русской угрозе» Европе особенно преувеличенным выглядит применительно к периоду, когда после англо-французского вторжения в Крым и поражения царизма в Крымской войне 1853—1856 гг. российская внешняя политика была более чем миролюбивой. Наибольшее осуждение со стороны основоположников марксизма вызывала борьба Российской империи за выгодное для нее решение восточного вопроса. Как и у других участников этой борьбы, в том числе у Австрии, Англии, Франции, позиция России не была бескорыстной. Но, оценивая действия России, все-таки стоило бы учитывать, во-первых, военно-стратегическое значение для нее Балканского полуострова и Черноморских проливов, во-вторых, то, что ее действия на Балканах, несмотря на экспансионистский характер, объективно содействовали освобождению от османского гнета христианских народов, постепенному созданию ими независимых национальных государств.

Трудно согласиться и с отношением К. Маркса и Ф. Энгельса к неудачным попыткам балканских народов в XIX в. достичь независимости. С одной стороны, основоположники научного коммунизма признавали необходимость «основания в Европе на развалинах мусульманской империи свободного, независимого христианского государства» или «федеративной республики славянских государств» [2, т. 9, с. 35, 249], с другой — борьбу южных славян рассматривали всего лишь как служение «русским завоевательным планам» [2, т. 34, с. 178]. В долгой самоотверженной борьбе славянских народов Балканского полуострова основоположники марксизма слишком часто видели интриги и подстрекательство русской дипломатии и, желая лишней раз высказаться против политики России, иногда прямо солидаризировались с действиями османских карательных отрядов. Так, за 8 месяцев до начала русско-турецкой войны 1877—1878 гг. — 25 августа 1876 г. — Ф. Энгельс писал К. Марксу: «„Daily News“ и старый Рассел своим криком о „турецких зверствах“ оказали русским неоценимую услугу и блестяще подготовили для них предстоящую кампанию...» [2, т. 34, с. 24].

6. Подводя итоги сказанному, представляется целесообразным затронуть один общий вопрос, с которым неизбежно сталкивается каждый историк, изучающий творческое наследие К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Речь идет о том, как в этом наследии соотносятся между собой их политические позиции с научной методологией, их публицистические высказывания, рассчитанные на кратковременный агитационно-пропагандистский эффект, с выводами, основанными на глубоком анализе фактов и имеющими исследовательский характер. К сожалению, зачастую не делается совершенно необходимых различий между этими двумя частями полученного от классиков наследия. Как правило, мы одинаковым образом используем обе части для своей научной аргументации, хотя далеко не все произведения классиков имеют под собой надежную источниковую базу и опираются на основную специальную литературу, существовавшую к моменту их создания.

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин были людьми исключительно вы-

соких интеллектуальных способностей, общественными деятелями, сомневаться в честности которых нет никаких оснований. И все-таки возможности их не были беспредельными. Они ограничивались, с одной стороны, тогдашним уровнем развития общественных наук и введенными в научный оборот историческими источниками, с другой — обстоятельствами места и времени, а также политическими нуждами каждого данного момента.

Главные выводы, которыми хочется закончить, заключаются в следующем. Наследие К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина чрезвычайно ценно для исторической науки, но к нему не следует относиться как к истине в последней инстанции. Осваивая произведения классиков, мы вправе и должны содержащиеся в них конкретные выводы и оценки соотносить с их же собственной методологией, с сегодняшней действительностью и последними данными науки. Обнаружив при этом устаревшие или ошибочные решения, нужно стараться найти их истоки — политические, историографические и источниковедческие. Думается, что все это вместе позволит покончить с цитатничеством, обеспечит дальнейшее продвижение к творческому и всестороннему использованию для нужд исторической науки как марксистско-ленинской теории, так и тех конкретных высказываний о прошлом, которые содержатся в трудах ее создателей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Topolski J.* Metodologia historii. Warszawa, 1968, s. 147.
2. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., 2-е изд.
3. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч.
4. *Кузьмин А.* Продолжение важного разговора.— Наш современник, 1985, № 3; *Кузьмин А.* Неожиданные признания.— Наш современник, 1985, № 9; *Кожин В.* Уроки истории. О ленинской концепции национальной культуры.— Москва, 1986, № 11; *Анастасьев Н.* Критика как наука.— Вопросы литературы, 1986, № 6; *Суровцев Ю.* К вопросу о реанимации некоторых приемов магической обрядности в критико-литературных текстах.— Вопросы литературы, 1986, № 7; *Калтачян С.* Куда стремится «единый поток». О ленинской концепции «двух культур».— Советская культура, 1987, 17 III.
5. *Дьяков В. А.* Идея славянского единства в общественной мысли дореволюционной России.— Вопросы истории, 1984, № 12.
6. *Бакунин М. А.* Избранные сочинения в 4-х томах. Т. I. Лондон, 1915, с. 40.

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ И СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

В Советском Союзе польская словесность издавна завоевала любовь широкой читательской аудитории. Интерес к литературе Польши особенно возрос в послевоенные годы, когда были созданы условия для более тесных творческих контактов и культурного обмена между нашими странами.

За минувшие сорок с лишним лет целый ряд произведений крупнейших польских писателей стал достоянием советской литературы. О том, как сложилась у нас творческая судьба одного из таких больших мастеров — Тадеуша Ружевича — эти заметки.

«Вхождение» Ружевича в советскую литературу соответствовало общим особенностям процесса распространения в СССР после 1945 г. не только польской, но и других современных литератур европейских социалистических стран¹. До начала 60-х годов советским читателям были в основном известны польские классики и ряд крупных писателей межвоенного двадцатилетия; знакомство с современными писателями, дебют которых пришелся на послевоенные годы, только еще начиналось. К этому времени Ружевич у себя на родине уже вошел в число ведущих поэтов, успешно выступил как прозаик и драматург. В нашей стране голос Ружевича впервые прозвучал в 1961 г., когда журнал «Иностранная литература» [2] поместил его стихотворения (в переводе М. Живова) «Был январь», «Песенка о малютке», «Мгновение», «На смерть поэта», два из которых были посвящены подвигу советских солдат на войне.

Уже при первом знакомстве с этой поэзией мы смогли уловить в ней главное: беспощадное обличение писателем-гуманистом войны средствами языка, намеренно освобожденного от всякого поэтического украшения. Название стихотворного цикла («Строки воспоминаний») наталкивало на размышления об истоках поэтического мироощущения Ружевича, которое формировали воспоминания лет оккупации. Через год в «Иностранной литературе» [3] было опубликовано стихотворение «Танк-памятник». Воспроизведенное на русском языке (перевод В. Бурича), оно сохраняло свой образный смысл: память о войне, ее жертвах требует от человечества беречь и защищать все живое на земле.

Известный польский литературовед А. Лям, представляя позднее в журнале «Вопросы литературы» достижения поэзии народной Польши, отмечал, что будучи писателем военного поколения, Ружевич в значительной степени «определил дальнейшее развитие польской лирики. Даже для тех, кто не следовал его традиции, аскетическая скупость выразительных средств, которая столь характерна для его стихов, стала мерилom подлинной поэтической ценности. Он способствовал тому, что искусство все большее внимание стало уделять проблемам морали, о которой начали говорить не в форме риторической декламации, а на материале

Тихомирова Виктория Яковлевна — канд. филол. наук, и. о. зав. кафедрой славянских ф-та иностранных языков МГУ.

¹ Подробно об основных тенденциях в этой области см. [1].

реальной действительности, на том уровне художественной выразительности, когда каждая, самая незначительная деталь несет большую смысловую нагрузку» [4, с. 100].

Публикации в «Иностранной литературе» в известной мере подготовили советского читателя к восприятию поэзии Ружевича. В 1963 г. на русском языке вышел том избранной лирики поэта [5]. Его название — «Беспокойство» — повторило название первого сборника Ружевича (1947), который принес начинающему автору всеобщее признание. В нем четко обозначилось отношение писателя к сложным проблемам нашего века, которые настоящий художник не может обойти молчанием. Чувствам советских людей стали близки стихи, написанные в первые послевоенные годы — свидетельства потрясенности общечеловеческим страданием и желания восстановить веру людей в ценность человеческой жизни. Наш читатель не мог не разделить усиливающегося с годами настойчивого стремления Ружевича на более позднем этапе его творчества понять и оценить изменившийся мир и человека, в сознании которого война оставила глубокий след.

С середины 60-х и в 70-е годы интерес к литературной деятельности Ружевича проявлялся в растущем числе переводов его работ, написанных в разных жанрах. Журналы [6—8] публикуют отдельные произведения (в том числе прозу), циклы стихов. Наиболее интересные образцы лирики и драмы были включены в поэтические антологии [9; 10], а также сборники пьес современных польских драматургов [11; 12]. Эти публикации сопровождались обстоятельными вступительными статьями, предисловиями и послесловиями, были снабжены подробными комментариями. В их подготовке принимали участие слависты, критики, а также известные поэты и переводчики.

Наиболее полное представление о творчестве Ружевича любители польской литературы получили благодаря двум сборникам: «Польские поэты» [13], в который вошла значительная часть лирики Ружевича, и «Избранное», включавшему известные образцы его поэзии, прозы и драматургии [14]. Оба названных тома, вышедшие в представительной серии «Библиотека польской литературы», заслужили высокую оценку советской литературной критики².

Большая часть «Избранного» появилась на русском языке впервые. Поэма «И в Аркадии — я» — наиболее значительное по глубине философской мысли и художественному уровню из созданных писателем в 60-е годы поэтических произведений. В этой поэме, а также одной из двух пьес, включенных в книгу, — «Группа Лаокоона» (уже знакомой читателю по ее более ранним изданиям) — раскрывается сатирическое дарование Ружевича. Перевод В. Борисова донес насмешливую интонацию пьесы, в которой польский драматург подверг осмеянию проявления снобизма в искусстве и быту. Мы получили возможность прочитать «Картотеку» (пер. З. Шаталовой) — первую из написанных Ружевичем и одну из самых известных пьес в послевоенной польской драматургии. Рассказы (в переводах Э. Гессен, Л. Петрушевской, Е. Лысенко) и этапная для писателя повесть «Смерть в старых декорациях» (пер. Г. Языковой) давали представление о тематически разнообразной прозе Ружевича, возникшей как бы на стыке его поэзии и драматургии. Наконец, советский читатель с интересом ознакомился с разделом сборника, (включавшим одну из программных статей в переводе С. Ларина и автобиографический очерк в переводе А. Эшпеля), в котором писатель обозначил комплекс идей, постоянно накапливавшихся в его творчестве, представил в главных чертах свою эстетическую программу и свой взгляд на задачи литературы и искусства в современном мире. В итоге книга не только раскрывала русскоязычной аудитории творчество писателя в его основных жанрах, но также углубляла представление о Ружевиче как художнике широкого тематического диапазона, который неизменно остается верен себе в любом из аспектов своей работы.

² См., например, [15].

Каждая очередная публикация в СССР, связанная с именем писателя, вносит в понимание его литературной деятельности что-то неожиданное, особенное. Переводы помогают уловить и оценить новые для нас лейтмотивы, мир Ружеви́ча становится понятнее и ближе. Так небольшой сборник «Избранная лирика» (в переводах В. Бури́ча) дополнил представление о Ружеви́че как поэте, разделяющем судьбу соотечественников на разных этапах национальной истории. Автор предисловия В. Хорев, рассматривая творчество Ружеви́ча в контексте послевоенной литературы, раскрывая новаторский характер его поэтики, заключил свои наблюдения выводом, что перед нами «поэт коммуникативный, доступный широкому читателю» [16].

С годами популярность Ружеви́ча в нашей стране возрастает. В считанные дни разошлось четвертое по счету издание его поэтических произведений на русском языке — «Стихотворения и поэмы» [17]. Эта книга по оценкам советской критики оставляет впечатление цельности, поскольку выявляет не только интонацию, но и смысл творчества поэта, выражает его человеческую судьбу, путь в поэзии, пристрастия, взгляды и характер [18].

Многое из того, что в 60—70-е годы вызывало пристальный интерес писателя — социальные и духовные последствия научно-технического прогресса, омещание части общества, проблемы культуры, искусства в современной действительности, — волновало также советских писателей и поэтому нашло заинтересованный отклик наших читателей.

Для более широкого их ознакомления с творчеством Ружеви́ча много сделали ведущие издательства, периодическая печать. Журналы [19], центральные газеты [20] постоянно знакомят нас с новыми работами Ружеви́ча, хроникой театральной жизни Польши и Советского Союза, в которой постановки его пьес занимают особое место, а также предлагают нашему вниманию интервью с писателем, ответы на вопросы анкет, отрывки из его статей и выступлений. Советский читатель может познакомиться с творческими достижениями Ружеви́ча и по польским изданиям, выходящим на русском и польском языках — журналам «Польское обозрение», «Польша», «Przegląd»³ [21].

В том, что Ружеви́ч пришел к нашим читателям, был понят и принят ими — большая заслуга замечательных поэтов и переводчиков: Б. Слуцкого, Е. Винокурова, Д. Самойлова, Ю. Левитанского, Л. Тоома, М. Живова, В. Британишского, М. Павловой, А. Эпшеля, А. Ревича, Н. Астафьевой, В. Бури́ча (трудно перечислить все имена), названных выше переводчиков его прозы и драматургии.

В конце 60-х и в 70-е годы произведения Ружеви́ча (включенные в антологии, отдельные издания, журнальные публикации) появились на языках народов СССР — украинском, белорусском, литовском, латышском, эстонском, армянском, грузинском⁴. Однако основную часть изданий, наиболее полно представляющую многообразие его творчества, составляют переводы на русский язык, который играет особую роль в процессе распространения литературы стран социализма в СССР как язык международного общения.

По мнению Б. Слуцкого, «ни одна из зарубежных поэзий не переведена у нас так тщательно и любовно и не прочитана так внимательно, как поэзия народной Польши» [9, с. 13]. Многолетний труд переводчиков не только привлек к Ружеви́чу читательское внимание, но и обогатил нашу литературу замечательными образцами его философской лирики, во многом близкой советской философской поэзии.

Однако бóльшую часть переводов на русский и другие национальные языки составляют поэтические произведения Ружеви́ча, в то время как в меньшей степени известна его проза и совсем скупо представлена драматургия. Между тем слава Ружеви́ча-драматурга перешагнула границы Польши. Его работа для театра огромна. Он автор более двух десятков

³ Орган Главного правления общества польско-советской дружбы.

⁴ Библиографию переводов произведений Т. Ружеви́ча на языки мира см. в [22].

пьес, большинство из которых переведено на другие языки и с успехом ставится во многих странах мира. Мы же знакомы с переводами лишь двух из них — «Картотеки» и «Группы Лаокоона». Можно сказать, что поэт заслонил для нас драматурга. И дело не только в состоянии переводческой практики. Большая часть драматургических произведений Ружеви́ча (кроме «драм для чтения») предназначена автором для постановки на сцене. Писатель однажды заметил, что их настоящая жизнь начинается с момента симбиоза с театром. Когда литературный текст наполняют чувства актеров, мысль режиссера, воображение художника, свет, звук и музыка, словом, когда он вбирает в себя энергию огромного количества людей, он становится новым, живым организмом. Поэтому вопрос, насколько точны наши представления о современной драматургии Польши и месте в ней Ружеви́ча, непосредственно связан с нашим знанием польского театра, в котором по убеждению самих поляков ярко проявляются характерные черты духовной культуры народа.

Огромное значение для укрепления связей наших театральных культур имели фестивали польской драматургии 1965, 1969 и 1976 гг. Важное место в этих мероприятиях заняли подготовка и проведение в 1976 г. III фестиваля драматического искусства Польской Народной Республики в СССР. В нем участвовало более 120 театров, показавших в общей сложности более 50 пьес польских драматургов. «География фестиваля, — отметила в беседе с автором статьи заслуженный деятель польской культуры Е. М. Ходунова, — была необычайно широка. От Бреста до Хабаровска, от Томска до Батуми советские зрители смогли посмотреть спектакли театров на языках всех союзных и многих автономных республик нашего Союза».

В рамках фестиваля 1976 г. состоялся советско-польский симпозиум «Современность на сцене театров СССР и ПНР». В выступлениях его участников не раз звучало имя Ружеви́ча как создателя особого реалистического и одновременно поэтического театра, основанного на «открытой драматургии», которая, несмотря на программное пренебрежение к классическим формам, естественно и глубоко связана с традициями польского театра. Многие выступающие подчеркивали, что в их жизни встреча с пьесой «Картотека», которая приобрела огромную популярность в Польше и за границей, стала одним из самых сильных впечатлений.

Зрители Москвы и Вильнюса имели возможность оценить своеобразие театральных структур Ружеви́ча во время гастролей в СССР одного из лучших театров Польши — Старого театра из Кракова, показавшего в 1969 г. (во время фестиваля польской драматургии) в числе пяти спектаклей пьесу Ружеви́ча «Моя доченька». В составе группы польских писателей и критиков, сопровождавших в поездке прославленный коллектив, находился и Т. Ружеви́ч. Он посетил Ясную Поляну, о чем давно мечтал. Можно сказать, что в творчестве Ружеви́ча интерес к Толстому, беседы с «Великим старцем», размышления о его личности занимают все большее место. Впечатления от поездки в Ясную Поляну вылились позднее в строки новых стихотворений, посвященных великому русскому писателю: «Сапоги и стихи», «Из хроники жизни Льва Толстого». Этот небольшой эпизод возвращает нас к мысли о близости культурных традиций наших народов, общности взглядов писателей, принадлежащих к разному времени и разным национальным литературам, на процесс творчества и место художника в этом процессе.

Гастроли Старого театра стали событием нашей театральной жизни. Пресса писала, что спектакли гостей из Польши покорили советских зрителей, расширили их представления о польском сценическом искусстве, сделали достоянием нашей культурной жизни незнакомые нам ранее замечательные произведения польской драматургии [23]. Другой известный коллектив — Гданьский драматический театр «Wybrzeże» показал в 1985 г. в Ленинграде спектакль по пьесе Ружеви́ча «Ловушка», который советская критика назвала «современным, открыто антифашистским». «Театр Ружеви́ча, — писала газета „Ленинградская правда“, — неизменно острый, парадоксальный, — отличает отчетливый антимещанский па-

«фос. Спектакль, отмеченный высокой сценической культурой, яркий по языку, встретил у ленинградского зрителя заслуженно теплый прием» [24].

Фестивали 1965, 1969 и 1976 гг., встречи советских зрителей с отдельными театральными коллективами Польши пробудили большой интерес к польскому театру и обогатили репертуар советских театральных коллективов пьесами современных польских драматургов, в том числе Ружеви́ча.

К сожалению, в первой половине 80-х годов число польских пьес, идущих в СССР, значительно сократилось. Наиболее известные драмы Ружеви́ча были поставлены в конце 70-х — начале 80-х годов в ряде советских театров, однако, вскоре на некоторых сценах работа над ними по разным причинам была приостановлена⁵. Тем не менее состоявшиеся спектакли успели завоевать зрительские симпатии, были отмечены специалистами и получили хорошую прессу.

Особого внимания заслуживает сценическая реализация пьесы «Старая женщина высиживает», осуществленная в 1979—1980 гг. Польским народным театром при Львовском областном Доме учителя⁶. Наша критика отмечала, что спектакль привлек зрителя гуманистической нотой протеста против сиротства матерей, против уничтожения их сыновей в постоянных войнах, нотой, которая не раз ускользала от профессиональных постановщиков.

С этой пьесой в 1979 г. труппа выступала на гастролях в Вильнюсе. В обширных откликах прессы на спектакль подчеркивалось, что постановка львовского театра наталкивает на серьезные размышления о необходимости иметь активную жизненную позицию, и в этом его большая заслуга [25].

Успех «Старой женщины» во Львове и Вильнюсе разделила постановка (1980) «Картотеки» в вильнюсском Государственном русском драматическом театре Литовской ССР. «Картотека» по характеру затронутых в ней явлений остается одной из наиболее значительных пьес польской драматургии 60—80-х годов. «Это просто счастье, что нам удалось обратиться к этому произведению, — сказал главный режиссер театра И. Петров. — Все сложные театральные формулы, которые мы использовали (психологический театр, бытовой театр, озорная цитата из театра сюрреализма)... несут одну простую цель — цель театра Ружеви́ча, как мы его понимаем, — пробудить сознание от залежавшихся представлений, навязчивых идей, предрассудков, от страха и духовного тунеядства» [26].

Коллектив театра показал эту пьесу на гастролях в столице Грузии, в 1984 г. она впервые была сыграна в Тбилиси на сцене Грузинского академического театра им. К. Марджанишвили. В содружестве с грузинскими актерами над спектаклем работали главный режиссер Лодзинского театра им. Стефана Ярача Б. Гусаковский и польский художник Г. Малецкий. Об этой постановке, названной коллективом театра «спектаклем дружбы», писали газеты [27—29], «полпредом дружбы» назвал сценическое искусство в наши дни Б. Гусаковский. «Мы хотим, — подчеркнул он, — чтобы наша совместная постановка способствовала установлению более широких творческих связей между деятелями культуры Грузии и Польши» [29]. Художественный руководитель тбилисского театра, народный артист Грузинской ССР Т. Чхеидзе выразил уверенность в том, что встреча с пьесой Ружеви́ча станет «интересной страницей в жизни марджановцев» [29].

В 1981 г. «Картотека» обрела жизнь в Таллинне, ее премьера состоялась в Государственном русском драматическом театре Эстонской ССР (режиссер А. Цукерман), вызвав интерес зрительного зала, доброжелательные отклики прессы [30; 31; 32, 6 III]. Театральный обозреватель Б. Тух советовал, прежде чем идти на этот спектакль, внимательно прочесть «Избранное» Т. Ружеви́ча [32, 4 IV]. Через поэзию и прозу — к драматургии. Безусловно, это лучший способ разобраться в идеях писателя и оценить точность их сценической реализации.

⁵ Театры вернулись к этим постановкам в 1987—1988 гг.

⁶ В 1983 г. театр был переименован в Народный театр драмы, а в 1988 г. — Народный театр «Дружба — Пшиязнь». Пьеса Т. Ружеви́ча «Старая женщина высиживает» возобновлена в репертуаре с 1988 г.

Одна из них — постановка «Картотеки» в Московском театре-студии «Человек» (главный режиссер Е. Р. Рошкован) — заслуживает особого разговора. Журналы «Przyjaźń» и «Kraj Rad» писали об этом спектакле, сыгранном актерами-непрофессионалами в 1980—1982 гг., как о вкладе в дело сближения наших культур [33; 34]. «Удачей» назвал премьеру московский корреспондент польской газеты «Sztandar Młodych» [34]. В 1987 г. труппа, получившая к этому времени статус профессиональной, вновь приступила к репетициям «Картотеки»⁷, что в беседе с автором этих заметок главный режиссер театра-студии Е. Р. Рошкован объяснила так: «„Картотека“, впервые поставленная в Польше в 1960 г., не утратила своей актуальности. Более того, она приобретает новое звучание в наши дни. В этой драме нас привлекает тревожная мысль о современности: ощущение общего неблагополучия, выходящего за рамки мучительных размышлений одинокой души».

Советские режиссеры, соприкоснувшись с театром Ружеви́ча, отмечают необычность его драматургических решений, отказ от привычных формальных приемов: диалог в пьесе переплетается с пантомимой, отвергается деление на акты, равно как и традиционное понятие сценического времени (действие может продолжаться час, два или три — в зависимости от намерений режиссера). Драматург сознательно оставляет за режиссером право конструировать модель пьесы, самостоятельно развивать авторскую мысль. Драматургическая и режиссерская фактура этих спектаклей непривычна для советских зрителей и тем более интересна. Однако в гораздо большей степени зрителей волнует то, что в них общезначимо. «Театр Ружеви́ча — трудный театр, — писала театровед и критик Н. З. Башинджагян. — И все же задачи у сложно выстроенной поэтической драматургии Ружеви́ча... — простые, очень человеческие задачи. Человеку надо спешить помочь — вот основная мысль драматурга, — он достоин этого... если замешкаться, может быть уже поздно» [35].

Приходится только сожалеть, что драматургическое творчество Ружеви́ча еще мало освоено нашими театрами. Права критик И. Пирогова в том, что сегодня нужно активнее переводить и анализировать польскую драматургию [36]. К этому хотелось бы добавить: и смелее ставить современные польские пьесы, выбирая для постановок не только завоевавшие популярность на других сценах, но также менее известные и даже спорные произведения. Тогда мы действительно сможем открыть друг другу свои духовные богатства, которые станут нашим общим достоянием, как сказано в Декларации о польско-советском сотрудничестве в области идеологии, науки и культуры, подписанной в 1987 г. М. С. Горбачевым и В. Ярузельским.

Завершая тему, несколько слов следует сказать о специальных исследованиях, посвященных анализу творчества Ружеви́ча. Пока его изучение советским литературоведением и критикой в определенной мере отстает от популяризации. Большинство опубликованных работ составляют очерки-предисловия к переводам произведений Ружеви́ча — С. Ларина, В. Хорева, В. Британниского, В. Огнева. Новаторские поиски Ружеви́ча в поэтических жанрах не раз становились предметом научных исследований Ю. Л. Булаховской, посвященных общим проблемам развития послевоенной польской поэзии [37]. Особенности его драматургии рассматриваются в статье В. П. Вединой [38]. Творческой эволюции Ружеви́ча-поэта посвящен литературно-критический очерк автора настоящей статьи [39]. В более общем плане — в связи с развитием основных поэтических жанров — лирика Ружеви́ча анализируется в книге А. Г. Пиотровской [40]. Наконец, творчеству Ружеви́ча в контексте послевоенной польской литературы отведено место в одной из глав «Истории зарубежной литературы после Октябрьской революции», написанной Е. З. Цыбенко [41].

И все же многие аспекты литературной деятельности Ружеви́ча остаются пока вне сферы интересов советских исследователей. Нуждается

⁷ В планах этого коллектива — приглашение польского режиссера Т. Бродзецкого для совместной постановки пьесы Ружеви́ча «Ловушка».

в специальном изучении его драматургическое творчество. В польской и советской критике была отмечена параллель между поэзией Ружевича и поздней лирикой Маяковского. Прозвучала также мысль о его близости с другими советскими поэтами — Б. Слуцким, Э. Межелайтисом, В. Луговским, Е. Винокуровым, Ю. Марцинявичюсом и др. Эти наблюдения могли бы стать предметом специального литературоведческого анализа. Думается, что была бы полезной обобщающая работа, в которой нашли бы свое отражение вопросы поэтики Ружевича, взаимосвязи его творчества, представленного в многообразии жанров, с литературами других стран. Тогда можно было бы точнее ответить на вопрос о месте Ружевича, завоевавшего национальное признание, в культуре Советского Союза, других европейских социалистических стран и шире — мировом литературном процессе XX в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агапкина Т. П. Распространение и изучение в СССР после 1945 г. современных литератур европейских социалистических стран. — В кн.: Современные литературы европейских социалистических стран 1945—1980 (историография, периодизация, методология исследования). М., 1986, с. 232—256.
2. Иностранная литература, 1961, № 2.
3. Иностранная литература, 1962, № 2.
4. Лям А. Мир поэзии. — Вопросы литературы, 1975, № 12, с. 95—103.
5. Ружевич Т. Беспокойство. Сост. и предисл. В. Огнева. М., 1963, с. 199.
6. Иностранная литература, 1967, № 2; 1969, № 7; 1978, № 5.
7. Нева, 1973, № 3; 1974, № 7.
8. Огонек, 1974, № 30.
9. Польская лирика в переводах русских поэтов. Сост. Б. Слуцкого, Б. Стахеева. Вступит. ст. Б. Слуцкого. Примеч. В. Стахеева. М., 1969.
10. Современная польская поэзия. Ред. и автор предисл. В. Огнев. М., 1971.
11. Современные польские пьесы. Вступит. ст. Б. Росточкиго. М., 1966.
12. Современная польская пьеса. Послесл. С. Стамф'ля. М., 1974.
13. Польские поэты. Сост., вступит. ст. и примеч. В. Британишского. М., 1978.
14. Ружевич Т. Избранное. Сост. и предисл. С. Ларина. Примеч. В. Британишского. М., 1979, с. 318.
15. Старосельская Н. Обдумываю этот мир... — Новый мир, 1980, № 8, с. 235—239.
16. Ружевич Т. Избранная лирика. Предисл. В. Хорева. М., 1980, с. 63.
17. Ружевич Т. Стихотворения и поэмы. Сост. и предисл. В. Британишского. М., 1985, с. 223.
18. Казаров В. «Заглядевшись в глазницы войны». — Литературное обозрение, 1986, № 6, с. 83—85.
19. Иностранная литература, 1961; № 2; 1962, № 2, 9, 10, 11; 1963, № 2; 1965, № 7; 1966, № 2, 9; 1967, № 2; 1969, № 7; 1978, № 5; 1985, № 8; 1986, № 1, 8; Новый мир, 1980, № 8; Вопросы литературы, 1965, № 12; 1975, № 12; Литературное обозрение, 1986, № 6; Театр, 1961, № 9; 1962, № 3; 1966, № 1; 1967, № 4; 1969, № 10; 1970, № 7; 1971, № 8; 1972, № 4; 1975, № 12; 1976, № 5; 1977, № 10; 1980, № 3; Театральная жизнь, 1975, № 4; 1980, № 18; Современная художественная литература за рубежом, 1962, № 12; 1970, № 3—4; 1972, № 5, 1973, № 1; 1979, № 1; 1986, № 4.
20. Правда, 1969, 23 XI; 1977, 28 VIII; Известия, 1969, 24 XI; Советская культура, 1968, 29 II; 1983, 4 I; 1984, 1 XII; Литературная газета, 1961, 16 III; 1962, 13 IX; Советская Россия, 1966, 19 I.
21. Польское обозрение, 1974, № 10, 12, 51; 1975, № 13; 1976, № 2, 13; 1977, № 4, 13; 1978, № 44, 50; 1979, № 15, 20; 1980, № 9, 10; Польша, 1971, № 10; 1972, № 12; Przyjaźń, 1982, № 6; 1983, № 37.
22. Vogler H. Różewicz. Warszawa, 1979, s. 55, 60 (на франц. яз.); Дерево и звезда. Из современной польской поэзии. Пер. М. Квиллидзе. Тбилиси, 1973, (на груз. яз.); Всесвіт, 1974, № 4; Вітчизна, 1977, № 4; Дніпро, 1977, № 4.
23. Башинджаган Н. Четыре спектакля. — Правда, 1969, 23 XI; Черепанов Ю. Краковские мастера. — Известия, 1969, 24 XI; Березницкий Я. Арбат, 26. Краковский Старый театр. — Театр, 1970, № 7, с. 129—136; Seliwanowska W. Tadeusz Różewicz — poeta. — Czerwony Sztandar, 1969, 22 XI.
24. Анин П. Яркий по языку. — Ленинградская правда, 1985, 18 IV.
25. Domożrova H. Stara kobieta wysiaduje. — Czerwony Sztandar, 1979, № 95; Rol-ska A. O głębokich refleksjach, uśmiechu i śmiechu. — Czerwony Sztandar, 1979, № 147.
26. «Не только тишина...» — Вечерние новости, 1980, 18 III.
27. Щербаков К. И в доме, и в мире. — Советская культура, 1984, 1 XII.
28. Сулаберидзе Н. Постановка польского режиссера. — Заря Востока, 1984, 20 VII;
29. Гусаковский Б. Искусство — полпред дружбы. — Советская Аджария, 1984, 18 IX.
30. Советская Эстония, 1981, 6 III.
31. Вечерний Таллинн, 1981, 6 III.

32. Молодежь Эстонии, 1981.
33. «Człowiek» z własnym wyrazem.— Przyjaźń, 1982, № 6, s. 20.
34. Gramy Różewicza.— Kraj Rad, 1982, № 21, s. 36—37.
35. Башинджаян Н. Польская пьеса и современность.— Театр, 1969, № 10, с. 146—152.
36. Широкова И. Содружество театров: факты и проблемы.— Советская культура, 1987, № 9, с. 7.
37. Булаховська Ю. Л. Сучасна польська поезія.— В кн.: Індивідуальність письменника і літературний процес. Київ, 1977, с. 125—175; Булаховська Ю. Л. Спадкоємність і новаторство сучасної польської поезії. Київ, 1979.
38. Ведіна В. П. Драматургія Тадеуша Ружевича.— Слов'янське літературознавство і фольклористика. Респ. міжвід. збірник, 1976, вип. II, с. 21—34.
39. Тихомирова В. Я. Поезія Тадеуша Ружевича.— В кн.: Писатели Народной Польши. М., 1976, с. 339—356.
40. Пиотровская А. Г. Художественные искания современной польской литературы. Проза и поэзия 60—70-х годов. М., 1979, с. 229—242.
41. Цыбенко Е. Э. Польская литература.— В кн.: История зарубежной литературы после Октябрьской революции. Ч. II. 1945—1970. М., 1978, с. 312—336.



ВАЙСКОПФ МИХАИЛ

ГОГОЛЬ И СКОВОРОДА: ПРОБЛЕМА «ВНЕШНЕГО ЧЕЛОВЕКА»

Пусть судит всякий, как хочет, а по мне так философ Хома стоит философа Сковороды!

В. Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя»

Мысль о возможном влиянии Г. Сковороды на творчество Гоголя, высказанная полвека назад Д. Чижевским, не получила развития в специальной литературе. В какой-то мере это сопряжено с естественными затруднениями, возникающими всякий раз, когда речь заходит о взаимоотношении идеологии и поэтики — в данном же случае трудность усугублена тем, что идеологическое наследие Сковороды представляет собой эклектическое переложение распространенных мистических доктрин¹, следы которых в изобилии прослеживаются и у Гоголя. С этой проблемой столкнулся уже сам Чижевский, проводя в замечательной статье о «Шинели» [4] параллель между перечнем «задоров» (губительных плотских влечений в «Мертвых душах» (и многих других гоголевских произведениях) и известным «виршем» Сковороды «Всякому городу свой нрав и права». Действительно, тема «задоров» универсальна, ею проникнута не только барочная, но и вся мистическая литература, в той или иной степени подверженная воздействию гностицизма; утверждая, что предшественником Гоголя здесь явился именно Сковорода, Чижевский должен был указать на сколь-нибудь осязаемое лексико-стилистическое сходство между сопоставляемыми текстами, а оно отсутствует. В 1968 г. он вернулся к этому вопросу и, вновь соотнеся с «виршем» гоголевские «задоры», попросту расширил перечисление последних, распространив их на «Владимира III степени», «Ревизора», на II том «Мертвых душ» и т. д. [5, S. 322—323] (ср. также в поздней редакции его статью [6]). Список оказался поистине неисчерпаемым, но к тексту Сковороды ближе не стал. Проблема потеряла отчетливость, и в итоге Чижевскому пришлось ее снять; упомянув о типологическом сходстве религиозно-этических взглядов Гоголя и Сковороды, он закончил, по сути, разбор на пессимистической ноте: «Можно было бы предположить обширное влияние Сковороды на Гоголя — можно было бы, если бы не было известно, что оба они — украинский писатель и украинский мыслитель — вдохновлялись общими источниками, писаниями от-

Вайскопф Михаил — профессор Иерусалимского университета.

¹ См. богатый обзор источников в книге Чижевского [1]. В лекции «Musagim v'sma-lim kabaliim v'shabtaim b'ktavav shel Grigorij Skovoroda» («Каббалистические и саббатические понятия и символы в сочинениях Григория Сковороды»), прочитанной 24 марта 1987 г. в израильской Национальной Академии наук, проф. Ш. Пшнес указал на зависимость позднего Сковороды от еврейских мистических учений. О генезисе этики Сковороды см. [2], о происхождении символики см., например, [3].

цов церкви и (хотя в разной мере) назидательной литературой „Киевской школы“ XVII века» [5, S. 323—324]. В своем капитальном труде о Сковороде, увидевшем свет в 1974 г., он совсем не касается данного вопроса, более того, скептически отзываясь о каком-либо внимании Гоголя и романтических писателей-украинцев к творчеству их земляка, говорит даже о незнании и недооценке ими Сковороды, а сходство тем объясняет конвергенцией [1, S. 122].

И все же проблема «Сковорода — Гоголь» поддается решению — но в ином аспекте, намеченном самим же Чижевским. Под «задорами», полагает он, пронизательно указывая на связь Гоголя с христианской мистикой и «Добротолюбием», подразумеваются те, зачастую мелочные уловки, посредством которых человека заманивает внешний мир; для Акакия Акакиевича роль такой роковой мелочи — «искушения» — выполняет шинель. В объяснение, предложенное Чижевским, целесообразно внести некоторые уточнения, освещающие генезис и функцию «задоров» применительно к сюжету «Шинели» и вообще к «внешней жизни» у Гоголя.

Согласно гностическим воззрениям, перенятым отцами церкви, в темнице тела дух обволакивается мелочными влечениями и страстями («*ar-petitions and passions*» [7]); их совокупность, отождествляемая с телом как «одеждой» духа, образует спящую или мертвую душу, *psyche*, отличимую от *пнеума* (ср. «внутреннего человека» у апостола Павла). Понятие «мертвая душа» встречается у Сковороды, например, в диалоге «Алфавит, или Букварь мира» [8, т. I, с. 420], куда оно проникло, очевидно, из восточнохристианской мистики, пропитанной гностическими тенденциями. И Гоголь, скорее всего, заимствовал название своей поэмы не у Сковороды, а из того же общего источника. В «Добротолюбии» св. Григорий Палама говорит: «Знай... что и у души есть смерть, хотя она бессмертна по естеству... почему и Господь мертвыми назвал живших по духу мира суетного... Мертвыми назвал Господь тех еще живущих, как умерших душою. Ибо... отделение Бога от души есть смерть души» [9].

Со своей стороны, Сковорода, одержимый идеей противопоставления видимой и невидимой природы, неустанно, а главное, во всех подробностях обличал «наружного», духовно омертвевшего человека; и как раз в этом отношении к мистик-обличителю ближе всего стоял Гоголь с его утрированно-вещественной поэтикой и даром «опредмечивать» людей. Здесь и могут быть выявлены конкретные точки схождения между обоими писателями. Обретая новую формулировку, проблема сохраняет заманчивость в рамках историко-литературного контекста, с точки зрения темы «украинского Гоголя», идеологической и семиотической структуры его произведений. Помимо прочего, сомнительно, чтобы столь колоритная — а в условиях Украины XVIII в. и столь грандиозная — фигура осталась незамеченной Гоголем. Но положительный ответ на вопрос, занимавший Чижевского, может быть дан лишь тогда, когда в гоголевских текстах будут найдены явные и конкретные параллели со Сковородой, прослеживаемые и на мотивном, и на лексическом уровне.

Между тем, именно в 1830-е годы в русской публицистике и беллетристике резко возросло внимание к Сковороде. Если в первой четверти XIX в. публикации о нем встречались сравнительно редко (более или менее подробные биографии выходили в 1817 и в 1823 гг.), то в 1833 г. И. Срезневский поместил в редактировавшейся им «Запорожской старине» заметки А. Хиждеу о Сковороде (см. [10, т. X, с. 480]); Гоголь, переписывавшийся со Срезневским на почве их взаимного интереса к украинской истории, восторженно отозвался о содержании этого издания². Тогда же Срезневский издал обстоятельную работу о Сковороде — с выдержками из его текстов — в харьковской «Утренней звезде»; в 1834 г. в «Ученых записках Московского университета» появилась его статья об украинской народной словесности, в которой он назвал «глубокомысленного Сковороду» одним из ведущих ее представителей, а в 1836 г. в «Московском наблюдателе» —

² «Вы уже сделали мне важную услугу изданием Запорожской старины. Где выкопали вы столько сокровищ?» [10, т. X, с. 298].

биографическая повесть о «страннике Григории Саввиче» «Майор, майор!». В 1835 г. А. Хиждеу в двух номерах «Телескопа» выступил с огромным панегирическим очерком. Через год Надеждин, уже успевший опубликовать три песни Сквороды, в том же «Телескопе» напечатал статью «Европеизм и народность в отношении к русской словесности», где дал комплиментарную оценку «народному русскому мудрецу» (см. [11]). Первый номер «Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду», вышедший в январе 1837 г., открывался статьей редактора А. Краевского «Мысли о России» — он объявил в ней Сквороду провозвестником «народной русской философии», противостоящей безбожному западному рационализму. Статья, носившая программный характер, произвела, по свидетельству И. Панаева, «большое впечатление на многих литераторов» и была одобрена П. Плетневым (цит. по: [12]), другом Гоголя. Гоголь о ней знал, судя по его письму к Н. Прокоповичу от 25 I 1837 г. Наконец, в 1840 г. в «Истории философии в России» А. Гавриил подробно, с обильными извлечениями, изложил учение Сквороды, причисленного им к ведущим национальным философам (см. [13]). В те же тридцатые годы вышло в свет несколько сочинений Сквороды.

Подобная ситуация, естественно, могла стимулировать интерес Гоголя к его знаменитому соплеменнику. Примечательно, однако, что этот интерес зародился раньше, еще в начале 1830-х годов, когда создатель «Вечеров» стал обстоятельно изучать материалы по украинской истории и этнографии, и не угасал на протяжении всего первого десятилетия его творческой деятельности. Я попытаюсь обосновать свое утверждение на материале трех гоголевских циклов — «Вечера», «Миргород» и «Петербургские повести», — каждый из которых представлен здесь одной, наиболее показательной повестью.

В первой из них, «Страшной мести», отчетливо заметны следы знакомства с диалогом Сквороды «Наркисс». Он был издан в 1798 г. в Петербурге, правда, без имени автора, а до этого распространялся в списках.

В гоголевской повести колдун просит дочь выпустить его из подземелья: «...подвелся он к окну поглядеть, не пройдет ли его дочь. Она кротка, непамятозлюбна, как голубка... — Это она! Еще ближе прикинул он к окну. Вот уже подходит близко... — „Катерина! Дочь! Умилосердись!... Если бы мне удалось отсюда выйти, я бы все кинул. Покаюсь:... День и ночь буду молиться Богу... Я бы и стен этих не побоялся, и прошел бы сквозь них, но... их строил святой схимник, и никакая нечистая сила не может отсюда вывести колодника, не отомкнув тем самым ключем, которым замыкал святой свою келью“» [10, т. I, с. 261—263].

Ср. в «Наркиссе»: «Знал он, что никоим образом нельзя выбраться из... тмы, разве через сии ворота ... Знал он, что никакая-либо птица и никакая мудрость человеческая, сколь она ни быстра, не в силах вынести его из пропасти, кроме сея чистой голубицы ... Сею-то нескверною голубкой он столь усладился, столь ею пленился, что, как Магдалена при гробе всегда сидел у окошка своя возлюбленная. Просил и докучал, чтоб отворила для него дверь, чтоб окончила его страдания» [8, т. I, с. 185].

Очевидно, «Наркиссом» навеяно и описание последующего бегства «неслыханного грешника» в горы: «Сама дорога, чудилось, мчалась по следам его ... Все чудится ему как-то смутно ... Поехал он прямо в Канев ... Дорога та же самая, но это не Канев, а Шумск. Изумился колдун, видя, что он заехал совсем в другую сторону. Погнал коня назад к Киеву, и через день показался город; но не Киев, а Галич ... Не зная, что делать, поворотил он коня снова назад, но чувствует снова, что едет в противную сторону, и все вперед ... Весь вздрогнул он, когда уже близко показались перед ним Карпатские горы ... а конь все неся и уже рыскал по горам. Тучи разом очистились, и перед ним показался в страшном величии всадник» [10, т. I, с. 276—278]. Ср. в «Наркиссе»: «Пишется: „Бежит нечестивый, никому же гонящу“ ... Известно, что грешник, как только почувствовал опасность своего пути, бежит как гонимый заяц, к сим горам, находясь в замешательстве бедных своих рассуждений, которые ему прежде весьма казались правильными. Но когда из Божиих гор блеснувший свет на

лицо ему покажет его прелщение, в то время весь свой путь сам уничтожает так, как случилось Павлу, едущему в Дамаск» [8, т. I].

Аналогия с Павлом включена в гоголевский текст. Колдун говорит Катерине: «Слышала ли ты про апостола Павла, какой он был грешный человек, но после покаялся и стал святым» [10, т. I, с. 262]. Заимствуя у Сквороды сюжет о кающемся грешнике, Гоголь инвертирует ситуацию, делает ее безнадежной, и там, где Скворода повествует о символическом воскресении из мертвых, Гоголь говорит о страшном замогильном бытии. Я имею в виду следующие строки из «Наркисса»: «А как несчастное дело есть сидеть и быть колодником в темнице (ср. первую кару, постигшую колдуна. — М. В.), так еще хуже быть в компании тех, коих Павел пробуживает: „Востани, спяй, и воскресни от мертвых ...“. *Разбий сон глаз твоим*, о несчастный мертвец: *Поднимись на ноги!*» [8, т. I, с. 189]³.

Участь колдуна в «Страшной мести»: «Вмиг умер колдун и *открыл после смерти очи*. Но уже был мертвец и глядел, как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по сторонам мертвыми глазами и увидел *поднявшихся мертвецов* ... как две капли воды схожих лицом на него» [10, т. I, с. 278].

Гоголь контрастно отняет главную мысль «Наркисса» — самопознание, открытие в себе внутреннего, духовного человека как залог спасения; в «Страшной мести» колдун видит только своих телесных двойников — нечестивых предков. И если, обращаясь к внешнему, «земляному» человеку, Скворода восклицает: «А теперь *кушай землю*, люби пятаю свою, ползай по земле» [8, т. I, с. 134], то у Гоголя мертвец Петро в буквальном смысле ест, «как бешеный, землю» [10, т. I, с. 281]. Так выстраивается основная линия соприкосновения Гоголя с украинским мистиком — односторонне-негативная реализация его сюжетов.

К сожалению, дальнейшая разработка вопроса упирается в серьезное методологическое препятствие. В отличие от «Наркисса» и сочинений, опубликованных в 1830-е годы, многие произведения Сквороды появились в печати уже после смерти Гоголя, и, хотя они расходились в списках, невозможно с уверенностью судить о степени их доступности писателю. Обнадеживающим примером здесь может послужить диалог «Асхань», опубликованный лишь в 1912 г., но известный в списках конца XVIII в. В «Страшной мести», изображая, как «мертвецы грызут мертвеца» и гложут «свои кости», Гоголь реализует метафору из «Асхани»: «Или век вам не восстать от сна гробов ваших? Жуюем мясо, но наше собственное, и нашими ж зубами кушаем мертвечину нашу» [8, т. I, с. 237].

Если признать, что Гоголю была знакома «Асхань», то как обстояло дело с другими текстами? Диалог Сквороды «Разговор дружеский о душевном мире» (в современных изданиях — «Разговор пяти путников о истинном щастии в жизни») был впервые опубликован в 1837 г. Следует ли отсюда, что Гоголь не мог ознакомиться с его содержанием ранее — например, в 1833 г., когда, вознамерившись выпустить «Историю Малороссии», безуспешно занимался разысканием старых украинских рукописей?⁴ В декабре он прочитал Пушкину «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». В ней он откликнулся на ведущую тему «Разговора».

Перечислив вещественные, технические достижения человечества — «измерили море, землю, воздух и небеса, и обезпокоилю брюхо земное ради металлов ... напшли закомплетных миров неисчетное множество, строим непонятныя машины, засыпаем бездны, воспящаем и привлекаем стремления водныя, чтоденно новые опыты и дикыя изобретения», — персонаж Сквороды заявляет: «Боже мой, чего не умеем, чего мы не можем! Но то горе, что при всем том кажется, что чегось великого не достает. Нет

³ Здесь и далее в цитатах, за исключением особо оговоренных мест, курсив мой. — М. В.

⁴ Ср. его письмо к Пушкину от 23 XII 1833 [10, т. X, с. 291, 470]. Как любезно сообщил мне Г. Шапиро, сочинения Сквороды имелись в библиотеке Трошинского, куда Гоголь получил доступ еще в юности.

того, чего и сказать не умеем: одно только знаем, что недостает чегось, а что оно такое, не понимаем» [8, т. I, с. 335—336].

В той же манере размышляет герой «Повести»: «Господи, Боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строение, амбары, всякая прихоть, водка перегонная настоенная; в саду груши, сливы; в огороде мак, капуста, горох... Чего ж еще нет у меня?.. Хотел бы я знать, чего нет у меня?» [10, т. II, с. 228].

Согласно Сквороде, человека губит языческое «идолобешенство» — влечение к видимому и осязаемому бытию, к брэнной «телесной натуре» [8, т. I, с. 354]; плоть есть «красная грязь и грязная краска», одежда, «ветхая риза», или тень, скрывающая невидимую сущность. В погоне за иллюзорными благами мир «тяжбы водит, коварничает ... строит, разоряет, тенит» [8, т. I, с. 335], так что часто «самый последний бесишка тревожит наш неукрепленный городок» [8, т. I, с. 357]. Истинное счастье состоит в душевном мире, а мир — в согласии с Богом [8, т. I, с. 343].

Разговору о мире Гоголь противопоставил *повесть о ссоре*. Конфликт, разгоревшийся из-за ружья, предваряется той сценой, когда Иван Иванович созерцает одежду соседа, вывешенную на дворе, причем этот гардероб — вполне в духе Сквороды — отождествлен с самим его хозяином, Иваном Никифоровичем⁵. Одежде сообщается мнимая жизнь, она сравнивается с «вертепом» (также метафора иллюзорного бытия); шаровары «заняли собою почти половину двора», а тень от них — «почти весь двор». Тени вещей обволакивают Миргород.

Путь спасения, по Сквороде, ведет из «мирского мира» в подлинный, духовный. Аллегорически переосмысляя фольклорный сюжет о союзе, заключенном безногим и слепым путниками, автор «Разговора» патетически описывает их возвращение к небесному отцу, что «живет в нагорном замке, называемом Миргород» [8, т. I, с. 327]. И далее: «Блаженны, кои день ото дня выше поднимаются на гору пресветлейшего сего *Мира — зорода* (курсив оригинала. — *М. В.*) ... *Се — то есть пасха* или переход в Иерусалим, разумеи: в город мира и в крепость его Сион» [8, т. I, с. 343].

Иначе говоря, «Миргород» Сквороды — это перевод слова «Иерусалим» в его популярной этимологии: Yerushalayim — ir shalom (город мира — древнеевр.). Восхождение совершается у Сквороды «от подлости на гору ... от свиных луж к горным источникам» [8, т. I, с. 347]. «Ах, опасно ступаимо, чтоб попасть нам вийтить в покой Божий в праздник Господень, по крайнейшей мере в субботу, естли не в преблагославенную суббог субботу и в праздников праздник» [8, т. I, с. 349].

Гоголевские реалии — свинья и лужа; вместо горнего Сиона дана церковь, куда «по воскресным дням» (ср. «в праздников праздник») отправляются в дружеском согласии Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, как бы пародируя увечных друзей — путешественников у Сквороды:

«И если Иван Иванович, который имел глаза чрезвычайно зоркие, первый замечал лужу, или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бывает ипогда в Миргороде, то всегда говорил Ивану Никифоровичу: „Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здесь нехорошо“» [10, т. II, с. 239].

Вслед за Сквородой, Гоголь намеренно нейтрализует, стирает различие между «миром» — согласием и «миром» — обществом⁶; в концовке «Повести» распавшийся, охваченный раздорами Миргород с его пустой *праздничной* церковью предстает символическим «земным Иерусалимом»: «Скучно на этом свете, господи!». Эта символика земного града, перенесенная из последней повести цикла в его название, окрасила собой сборник в целом.

Столь же негативное, если не полемическое, усвоение центральных мотивов Сквороды вскрывается в «Шинели».

⁵ «„Вот глупая баба!“ подумал Иван Иванович: „она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать!“ И точно: Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые шаровары Ивана Никифоровича» [10, т. II, с. 229—230].

⁶ В «Разговоре» Скворода пишет «мир» через *и*, так же, как «мир».

А. Хипписли в интересной статье указал на библейскую и евангельскую семантику одежды в этой повести, в частности, на аналогию между переодеванием Акакия Акакиевича и духовным воскресением [14]. Имеются, однако, веские основания полагать, что и религиозная тема одежды, и, сверх того, ее символическая соотношенность с именем героя были непосредственно подсказаны Гоголю сочинениями Сквороды — прежде всего диалогом «Беседа, нареченная двое, о том, что блаженным быть легко», опубликованным в 1837 г. Московским попечительным комитетом «Человеколюбивого общества» (к работе над «Шинелью» Гоголь приступил осенью 1839 г., а завершил ее в первые месяцы 1841 г.). В заключительном разделе «Беседы», озаглавленном «Врата Господни в новую страну, в пределы вечности», сказано:

«Но кто тебе насеял лукавое семя сие, будто трудно быть блаженным? Не враги ли, сирены? ...»

Ф а р р а. Ей-ей, они! От их-то гортани голос сей: „Халепа та кала“. Τό Καλλός χαλεπόν ἐστὶ — „Трудна доброта...“.

Н а е м а н ... Изблуй онаго духа лжи вон. А положи в сердце сей многоценный во основание камень: „Халепа та кака“. — „Трудно быть злым!“ [8, т. I, с. 274].

Тленной одежде — плоти — Скворода противопоставляет «ковчег», духовные «ризы спасения», облакаясь в которые, человек обретает в себе Бога: «Вот от потопа епанча! Самый ковчег есть то нерукотворная скиния ..., покрывающая лучше, нежели *мантель*. На спю то скинию тонко издалуча взирает Илиина *шинель*, или бурка ... А Илиину бурку где тебе взять? „Халепа та кака“» [8, т. I, с. 277].

Однако, хотя имя Акакий, судя по всему, было произведено из «халепа та кака», оно обросло дополнительной и сложной символикой, имманентной семантическому строению и самой стилистике повести, в которой Гоголь решал проблему внешнего, опредмеченного человека. Семантическое движение «Шинели» состоит в последовательной конкретизации образов, в перемещении от общего и неопределенного — к данному, специфическому, от внешнего — к внутреннему, от предметного контура — к скрытому психическому содержанию. На всех уровнях тема разворачивается путем сужений и уподоблений, фиксируемых в словах «какой», «какой-то», «такой», «как», «так» (я насчитал их не менее 330); сюда же примыкают определения типа «всякий», «частный», «один» и т. п. Из туманного, расплывчатого фона, из «как» и «так» проступает имя героя: «Родительнице предоставили на выбор любое из трех, *какое* она хочет выбрать ... „Нет — подумала покойница, — имена-то все *такие* ... Вот это наказание ... *какие* все имена; я, право, никогда и не слышывала *таких* ... Видно, его *такая* судьба. Уж если *так*, пусть будет он называться. *как* и отец его. Отец был Акакий, *так* пусть и сын будет Акакий“. *Таких* образом и произошел Акакий Акакиевич» [10, т. II, с. 342] ⁷.

Поскольку псевдоиндивидуализация героя дается через его отношение к вещам, фокусируемое в теме шинели, постольку обусловлен и выбор фамилии «Башмачкин», контрастирующей якобы с тем фактом, что «все совершенно Башмачкины ходили в сапогах». В ряде произведений Сквороды тленность и убожество презираемого им материального бытия запечатлены в образе «ноги» и «пяты» — ближайшего аналога одежды. Ср. в «Наркиссе»: «Что есть совет лукавый и семя змеино? ... Любить и оправдать во всяком деле *пустую внешность или пяту*» [8, т. I, с. 171].

Мотив пяты и обуви наиболее подробно развит в диалоге «Асхань»: «И если развувеш и ражжувеш, то увидиш, что называемая тобою нога не что иное, как только голый поверхний прах ..., из земли вылепленный, как болван скуделный, и будьто *сапог* твояя ноги ... и весь прах, как *са-*

⁷ Ранкур-Лаферрьер интерпретирует цитируемый пассаж иначе — как фонологическую антиципацию имени, содержательная сторона которого низводится им — в духе психоанализа — к фекальной и, следовательно, — анальной символике [15, р. 97]. Можно упомянуть, что в сочинениях Сквороды образы «пяты» и «навоза» соотношены как две смежные метафоры материи, земности.

ног свой, надетой на ногу носящему ... Сердце есть корень. В нем-то живет самая твоя нога, а наружный прах есть *башмак* ее» [8, т. I, с. 242—243].

В этом пассаже проясняется и генезис фамилии героя, и ее функциональная связь с главной темой повести. Ср. далее: «Не только нога, но и ... вся твоя окружность всех членов болваняющих есть не иное что, как *одежда* одна» [8, т. I, с. 243].

В прямом соответствии с этой символикой в повести установлена корреляция между ногой, обувью — и шинелью. Петрович советует Башмачкину надеть из старой шинели себе «онучек, потому что чулок не греет» [10, т. III, с. 151]. В черновиках говорилось о том, что изнутри она была подбита мехом, вроде того, «которым обивают изнутри зимние валенки» [10, т. III, с. 450]. Готовясь к приобретению новой шинели, герой ступает «почти на цыпочках», чтобы не истрепать подметок.

«Пята» у Сковороды неизменно ассоциируется с ущербным, неполным зрением, с «плотным оком», могущим созерцать только внешнего человека. Ср. в «Наркиссе»: «Наше око пяту блюдет и на последней наружности находится, минуя силу, начало и голову» [8, т. I, с. 165]. «Сие твое *око* есть *пята*, или хвост в твоём оке ... А самое жь точное око, главное и начальное око — где?» [8, т. I, с. 159—160].

Отсюда, собственно, символическая подслеповатость Башмачкина, которому прежде всего бросился в глаза большой палец ноги Петровича с изуродованным ногтем, «толстым и крепким, как у черепахи череп»⁸; а в гостях у помощника столоначальника, жившего «на большую ногу», он в первую очередь заметил «на полу целые ряды калош» [10, т. III, с. 159]. Это увязывается с другим сквозным мотивом Сковороды — утратой вкусовых ощущений, также символизирующей бездуховность. Башмачкин ест, «вовсе не замечая ... вкуса» пицци [10, т. III, с. 145]. Ср. в «Наркиссе»: «Знай, что мы целого человека лишены и должны сказать: „Господи, человека не имам...“ ... Что же пользы: иметь и не разуметь? *Вкушать тебе одну человеческую ногу или пяту*, закрыв прочее тело и голову ... Так можно ли узнать человека из одной его пяты?» [8, т. I, с. 459].

Между прочим, той же духовной слепотой поражен у Гоголя гипотетический наблюдатель — внешне противопоставленный Башмачкину молодой чиновник, «простирающий до того пронизательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка» [10, т. III, с. 145].

Но и кривой Петрович, подчеркивает Гоголь, первым делом обзрывает вицмундир Акакия Акакиевича. Его одноглазость — знак плотского и потому ущербного видения, символ, естественно поддерживаемый образной системой фольклорной демонологии, но ею не исчерпывающийся; характерно, в частности, что демонизм Петровича переплетается с парадоксальным, вполне языческим благочестием — верностью «дедовским обычаям». Ср. символическую трактовку одноглазости у Сковороды:

«Признаюсь, что сие слово вера в грязных моих устах мечтается за один только обычай, а вкуса в ней ничего не слышу ...

Д р у г. ... Знай же, что вера смотрит на то, чего *пустое твое око* видеть не может.

Л у к а. Что за пустое такое око?

Д р у г. Уже говорено, что вся плоть — пустошь.

Л у к а. И да! Я в целой поднебесной ничего другого не вижу, кроме видности, или, по твоему сказать, плотности, или плоти.

Д р у г. Так посему ты неверный язычник и идолопоклонник ... *Другое око* надобно, чтоб еще увидеть и невидимость ... Истинное око и вера — все одно»⁹ [8, т. I, с. 162].

⁸ Ср. у Сковороды: «Мысль или сердце есть то дух, владетель телу, господин дому. А тело? Есть *устричный череп*» («Жена Лотова» [8, т. II, с. 52]). «Тело мое есть точно то, ... что в сосуде череп» («Наркисс», [8, т. I, с. 169]).

⁹ Ср. в сходном контексте плотолобие Хомы Брута в «Вие» и его гибель от «земляного» взгляда.

Применительно к «Шинели» столь излюбленная фрейдистами трактовка обуви, ноги как эротического символа сохраняет некоторую убедительность — уже по той простой причине, что, помимо указанной выше семантики, нога и обувь у Гоголя непосредственно соотнесены с двигательным и волевым началом вообще. Нога в «Шинели» — это знак устремленности, причем устремленности, негативно оцениваемой, образ низших и суетных влечений. У Сковороды нога обозначает также и «склонность, любление и жадное желание» [8, т. I, с. 241], включая «аштетит», — т. е. начало эротическое в широком, а не в узко сексуальном смысле. Волевым движением должно быть облагорожено, одухотворено — для нового пути, говорит Сковорода, нужны «новые ноги». При этом различие между плотью и духом понимается у него с элементарной наглядностью — человек «наружный» есть как бы чехол на человеке «внутреннем»: «Видь ты уже слышал, что нога твоя наружная — не нога, а только одно обушь твоя нога? ... Какой же вздор? Лечить ногу, а прикладывать эмпластр к сапогу? ... Пойди, зачав от ноги твоей, по всем твоим удов крайностям ..., то, можешь статься, узнаешь, что ... наружность не что иное, как маска твоя, каждый член твой прикрывающая» [8, т. I, с. 243—244].

Тем самым, чаемое прозрение и развоплощение приравняются к снятию покровов: «Отдели бельмо от ока..., *иззуй сапог* твой из ноги твоя, и увидишь, в какой-то стороне тамо ... тамо, откуда произрастает поверхность твоя» [8, т. I, с. 242].

Этот призыв *разуться* Гоголь трансформирует в сюжетную ситуацию, решительно меняя символическую оценку: в «Шинели» раздевание и снятие обуви есть способ показа мнимости плотского суетного мира, его избличение. Исследователи уже отмечали, что поразившая воображение Башмачкина картина с женщиной, скидывающей башмак, коррелирует с той сценой, где ограбленного героя встречает его «невеста» — раздетая старуха «с башмаком на одной только ноге» [10, т. III, с. 162]¹⁰. В стяжении эпизодов обыгран мотив свадьбы; молодость и старость сливаются в русле общей темы брэнности и иллюзорности мира. Ср. преодоление соблазна в концовке диалога «Беседа, нареченная двое»: «Прощайте навеки, дурно-мудрыя девы, сладкогласныя сирены с вашими тленными очима, с вашею стареющейся младостью, с младенческим вашим долголетием и с вашею рыдания исполненною гаванью» [8, т. I, с. 281].

Разрабатывая именно эту линию, Гоголь снимает зато перспективу спасения, раскрываемую в «Беседе» Сковороды. Так, изображая Петровича, он отталкивается от Сковороды, travestiруя характерную для того тему «прибежища», тему св. *Петра-избавителя*¹¹. В «Беседе» принцип «халепна та кака» объявлен «краеугольным камнем» [8, т. I, с. 274] и *ключами* спасения, олицетворяемого в образе апостола Петра: «Нам же даны ключи: Халепна та кака. „Радуйся, кефо моя, Петре мой, гавань моя! ... Ты мне отверзаеши врата во блаженное царство светлия страны“» [8, т. I, с. 281].

Ложное спасение в «Шинели» дается, по глубокой мысли Чижевского, как обретение внешнего, а не сущностного бытия. Внешнее же и внутреннее соотносятся в ней как знак и смысл. Но пути от первого ко второму для героев «Шинели» сокрыты, ибо их восприятие затуманено: ср. описанные выше нарушения зрительных и вкусовых ощущений; сюда можно добавить глуховатость (ср.: «Петрович не дослышал»; Акакий Акакиевич говорил, «не стараясь слышать сказанных Петровичем слов») и, что еще важнее, нарушения речевой функции, затрудняющие коммуникацию.

Но и в самих знаках упор делается на их внешней стороне, «материальной оболочке». Вся жизнь Акакия Акакиевича состоит в бессмысленном переписывании букв. Хотя мотив мертвых букв восходит, вероятно, к изречению апостола Павла (II Кор. 3 : 6—8), ближайшим источником, думается, послужил тут опять Сковорода. Ср. в «Наркиссе»:

¹⁰ См. [16, р. 192]. Возможно, эпизод со старухой находится в какой-то связи с библейским обрядом отказа от бракосочетания и разуванием одной ноги (Втор. 25 : 7—10).

¹¹ Подробнее о линии Петрович — апостол! Петр у Гоголя см. [15, р. 59].

«Если кто краску на словах видит, а писмен прочесть не может, как тебе кажется? Видит ли такой писмена?»

Лу к а. Он видит плотным оком одну последнюю пустошу или краску в словах, а самых в письме фигур не разумеет, одну пята видит, не главу.

Д р у г. ... Что в красках рисунок, то же самое есть фигурою в писменах» [8, т. I, с. 164].

Еще ярче в «Алфавите, или Букваре мира»: язычники называли материю существом, «как зритель взирает на картину, погрузив свой телесный взор в одну красочную грязцу, но не свой ум в невестественный образ носящую краски рисунка, или как неграмотный, вперивший тленное око в бумагу и в чернило букв, но не разум в разумение сокровенных под буквами силы. А им и на ум не входило сие ... слово: „Плоть ничто же, дух животворит“» [8, т. I, с. 426].

Все вышеперечисленные мотивы Сквороды срastaются у Гоголя в целостный сюжетный комплекс, словно образы «Шинели» были предсказаны формулой украинского мистика: «*Без вкуса пища, без очей взор, без толку речь, без природы дело, без Бога жизнь* есть то же, что без размера строить *без закроя шить, без рисунка писать, а без такта плясать...*» [8, т. I, с. 428].

Важнейший сюжетный ход «Шинели» заключается в озвучивании и семантизации графических изображений¹²; к последним относится генерал с «заклеенным бумажкой лицом», нарисованный на крышке Петровичевой табакерки, и, по наблюдению О. Ропена и Ф. Дриссена, трансформирующийся потом в Значительное лицо [16, р. 206—207]. (см. также [15, р. 188—192; 20]. В терминах Сквороды этот прием можно интерпретировать как переход от «пяты» (генеральского мундира) к «голове» (лицу), как обнаружение «сокровенной под буквами силы», образующее мотив *значительности* или, вернее, значения, знаковости. Однако семантизация изображений оказывается губительной для гоголевского героя. Здесь мы подходим вплотную к тому пункту расхождения Гоголя со Сквородой, который проливает свет на семиотическую конструкцию повести. Чтобы найти путь к сокровенной, духовной личности, ее нужно развоплотить от «чина и звания», сорвать с нее мертвый покров — «всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной» [10, т. III, с. 169]. Тем не менее, в силу предметно-пластической образности своей поэтики, Гоголь мог показать «внутреннего» человека только объективируя психическое состояние; незримое он мог дать только видимым, телесно ощутимым. Проступающее лицо неизбежно делалось новым вещным образом, очередной маской¹³. Башмачкин лишь последовательно меняет телесные оболочки, от «капота» до генеральской шинели. Его земные и загробные странствия, а равно и сама идея «*светлого гостя*» и «*приятной подруги жизни*» на деле были обусловлены гоголевским приемом воплощения, динамикой безостановочной смены личин, обращенной к недостижимой цели; но скрытую концептуальную мотивировку они получили в «Наркиссе» Сквороды: «Не удивляйся, душа моя! Все мы любопрахи. Кто только влюбился во видимость плоти своея, не может не гаяться за видимостью во всем небесном и земном пространстве. Но для чего он ея любит? Не для того ли, что усматривает в ней *светлость и приятность, жизнь, красу и силу?* ... Так не все ж ли одно — почитать идола за живое и присудить ему жизнь, а ему умереть должно» [8, т. I, с. 170]. И далее: «*Может ли прах, во гробе лежащий, востать и стать и признать, что еще и невидимость есть, есть еще и дух? Не может...*» [8, т. I, с. 177].

В результате принцип «Халепа та кака» — «Трудно быть злобным» —

¹² Ср. в «Театральном разезде»: «Смысл внутренний всегда постигается после. И чем живее, чем ярче эти образы, в которые он облекся... тем более останавливается всеобщее внимание на образах. Только сложивши их вместе, получишь итог и смысл создания. Но разбирать и складывать такие буквы быстро, читать по верхам и вдруг, не всякий может. А до тех пор долго будут *видеть одни буквы*» [10, т. V, с. 161]. См. осмысление букв в [17, р. 56]. На важность «графологического жеста» обратил внимание уже Ю. Н. Тынянов в работе над фильмом «Шинель» (см. [18]). Что касается «сокровенной силы» букв у самого Сквороды, см. [19].

¹³ Ср. психологическую интерпретацию гоголевской «маскировки» в «Шинели» [17, р. 60].

находит у Гоголя парадоксальное сюжетное преломление: его герой, так сказать, преодолевает эту трудность. «Неужели ты кафтан и плоть делаешь Христом?» — вопрошает Сковорода, превознося затем тот именно образ жизни, которого у Гоголя придерживался Акакий, пока его не осенила мысль о шинели. «...Люби нищету... А наживать странный и маскаранный габит ... — сие не бремя ли есть? [8, т. I, с. 277].

Принимая на себя это бремя, Акакий Акакиевич выбирает зло. Однако мнение Чижевского о том, что шинель — искушение для Башмачкина, кажется все же не вполне справедливым. «Шинель» была тончайшим компромиссом между позитивно-домостроительной идеологией позднего Гоголя и поэтикой, навязывавшей ему негативную трактовку образов. Используя прием материализации отвлеченных понятий, Гоголь сумел воплотить в повести представления христианской этики, поскольку придал им непосредственную, телесно-вещественную убедительность¹⁴. Но для этого ему пришлось соразмерить человека с вещью или, в понятиях Сковороды, свести человека к «пяте» и «ризе». Глубинная, сущностная реальность образа была нулевой, так что авторские сетования по поводу смерти героя: «И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было» [10, т. III, с. 169] вторят сентенции «Наркисса»: «Кратко сказать, тебе не было на свете, потому что земля, прах, тень и ничтожная пустоша — все то одно»¹⁵ [8, т. I, с. 17].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Tschizewskij D.* Skovoroda. Dichter, Denker, Mystiker. München, 1974.
2. *Шнем Г.* Очерк развития русской философии. Первая часть. Пг., 1922, с. 68—83.
3. *Курик Д. П.* Світ символів Г. С. Сковороди. — В сб.: Від Вишнєвського до Сковороди. (З історії філософської думки на Україні XVI—XVII ст.) Київ, 1972, с. 116—117.
4. *Чижевский Дм.* О «Шинели» Гоголя. — Современные записки. Т. LXVII, 1938, с. 189—190.
5. *Tschizewskij D.* Skovoroda — Gogol. — Die Welt der Slaven, 1968, Bd. XIII, H. 1.
6. *Tschizewskij D.* Komposition von Gogol's «Mantel» — In: Gogol, Turgenew, Dostoevskij, Tolstoj. Zur russischer Literatur des 19. Jahrhunderts. Forum Slavicum, 1966, Bd. 12, S. 113—114.
7. *Jonas H.* The Gnostic Religion. Boston, 1958, p. 44.
8. *Сковорода Григорій.* Повне зібрання творів у двох томах. Київ, 1973.
9. Добротолюбие! Т. 5. М., 1889, с. 278.
10. *Гоголь Н. В.* Полное собрание сочинений в 14 томах. М., 1937—1952.
11. *Полищук Ф. М.* Григорій Сковорода. Семінарії. Київ, 1972, с. 11—16; *Барабаш Ю.* ... Сип ... разнородные о нем суждения. Григорій Сковорода в оценках и спорах. — Вопросы литературы, 1985, № 3, с. 98—99; *Лавров А.* Андрей Белый и Григорій Сковорода. — Studia Slavica Hungaricana, 1975, T. 21, с. 404.
12. *Орлов Вл.* Пути и судьбы. Литературные очерки. Л., 1971, с. 471—473.
13. *Данилевский Г. П.* Григорій Саввич Сковорода. — В кн.: Сочинения. Т. 21. СПб., 1901, с. 88.
14. *Hippisley A.* Gogol's «The Overcoat»: a Further Interpretation. — Slavic and East European Review, 1976, № 20, s. 124—125.
15. *Rancour-Laferriere D.* Out from under Gogol's Overcoat. — A Psychoanalytic Study. Ann Arbor, 1982.
16. *Driessen F. C.* Gogol as a Short Story Writer. The Hague, 1965.
17. *Bernheimer Ch. C.* Cloaking the Self: The Literary Space in Gogol's «Overcoat». — PMLA, 90 (January, 1975).
18. *Цивьян Ю. Г.* Палеограммы в фильме «Шинель». Тыняновский сборник. Вторые тыняновские чтения. Рига, 1986, с. 22—23.
19. *Серман И. З. М. В.* Ломоносов, Г. С. Сковорода и борьба направлений в русской и украинской литературах XVIII в. — В кн.: Русская литература XVIII в. и славянские литературы. Исследования и материалы. М.—Л., 1963, с. 76.
20. *Вайскопф М.* Поэтика петербургских повестей Гоголя. — Slavica Hierosolymitana, 1978, т. III, С. 41—42.
21. *Keil R.-D.* Gogol' und Paulus. — Die Welt der Slaven, 1986, Jg. XXXI, H. 1, S. 98.
22. *Вайскопф М.* Нос в Казанском соборе. — Wiener Slavistischer Almanach, 1987, № 19.

¹⁴ По наблюдению Р.-Д. Кайля [21], проповедь «братства» в повести инспирирована изречением Иисуса: «Так, как вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матф. 25 : 40). Стоит добавить, что призыв к состраданию в этом месте Евангелия отливается в наглядно-бытовые образы, подхваченные Гоголем: «Был наг, и не одели Меня; болел и в темнице, и не посетили Меня» (Матф. 25 : 43). Ср. хотя бы то, что умирающего Башмачкина не посещают сослуживцы — департаментский сторож приходит лишь после его смерти.

¹⁵ О возможных реминисценциях из Сковороды в другой повести петербургского цикла см. [22].



ЛИПАТОВ А. В.

«РУССКИЙ» КРАШЕВСКИЙ (Польско-русские литературно-типологические параллели)

Юзеф Игнаций Крашевский (1812—1887) — один из популярнейших славянских прозаиков своего времени, удостоенный звания почетного председателя европейского сообщества писателей. Его произведения продолжают переводить на языки разных народов мира, экранизируют не только в Польше (на телевидении ГДР создан многосерийный фильм «Из саксонских времен», в ПР — кинофильм «Графиня Козель»). Эти новые свидетельства непрекращающейся почти полтора века популярности писателя убедительно говорят о непреходящей ценности его художественного наследия. Имя Крашевского включено в календарь ЮНЕСКО.

По количеству изданий и широте популярности Крашевского Россия занимала второе после его родины место. До 1917 г. у нас было опубликовано 196 его романов, повестей, рассказов, пьес, поэтических и публицистических произведений. Вышло пять собраний его сочинений (среди них — два — в 12-и и одно — в 52-х т.). Юбилей 50-летия литературной деятельности Крашевского в 1879 г. был отмечен в 58 выступлениях русской прессы. Материал об этом событии, которое превратилось в манифестацию жизненности польской культуры, продолжали публиковаться и в следующем году. Поздравляя «славного ветерана польской литературы», И. С. Тургенев писал в приветственном послании: «В лице моем громадное большинство русской интеллигентной публики приветствует Крашевского и братски жмет ему руку. Пускай же он примет этот привет как залог сближения между двумя племенами, столь долго разрозненными прошедшей историей и вступающими, наконец, в новую и плодотворную эру свободного, дружного и мирного развития. Ввиду благ, какие сулит близкое будущее, русский писатель, ученик Пушкина, заочно поднимает заздравный кубок в честь польского поэта, сподвижника Мицкевича» [1].

С 80-х годов имя Крашевского значится в различных русских справочно-энциклопедических изданиях, включая крупнейшие: «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона (1895, т. 32), «Большая энциклопедия» (под ред. С. Н. Южакова. СПб., 1903, т. II), «Энциклопедический словарь» Гранат (1914, т. 25), «Новый энциклопедический словарь» (1915, т. 23) (см. [2])¹.

Ю. И. Крашевский довольно хорошо знал русский язык. Он не только внимательно следил за литературной жизнью России, но и был популяризатором крупнейших произведений русских писателей среди польской

Липатов Александр Владимирович — канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ Согласно данным Всесоюзной Книжной Палаты на 1 января 1987 г., в СССР вышло 17 изданий произведений Крашевского на 6-и языках общим тиражом 1 030 000 экземпляров.

общественности, вдумчивым литературным критиком, который вопреки драматизму русско-польских отношений и исторически сложившимся предубеждениям показывал своим землякам гуманный смысл и общечеловеческое значение талантливейших произведений русской литературы. На страницах своего журнала «Ateneum» он открыл специальную рубрику, посвященную славянским литературам, среди которых особое место отводилось русским писателям. Именно в «Ateneum» появляются в 1844 г. первые переводы «Шинели», «Записок сумасшедшего» и два раздела «Мертвых душ» (Гоголь наряду с Диккенсом и Бальзаком сыграл особую роль в формировании творческой манеры Крашевского). Здесь же были опубликованы переводы Пушкина и Лермонтова. Большое внимание Крашевский уделял и русскому фольклору. (Известно, что он пробудил у фольклориста Р. Подбереского интерес к русскому народному творчеству). Позднее Крашевский первым в Польше высоко оценил и приблизил читающей публике философско-художественное звучание «Войны и мира» Л. Н. Толстого (см. [3]). Эта часть многосторонней деятельности Крашевского еще недостаточно изучена, и до сих пор в значительной степени сохраняет свою актуальность суждение В. Борового, который почти полвека назад, отмечая заслуги Крашевского в приближении полякам русских художественных ценностей, настаивал на том, чтобы об этом «помнили наши русисты, которые иногда находятся во власти иллюзии, будто бы между ними и Мицкевичем не было поляков, способных объективно увидеть произведения русской литературы и ощущать их художественную ценность» [4].

Глубокое понимание Крашевским России и русской литературы было обусловлено не только его непосредственными связями с русской общественностью (здесь особо следует выделить его теплые отношения с Тургеневым, который из всех русских современников был ему наиболее близок как художник)², но и общностью идейно-эстетических воззрений. Это отразилось не только в его исторических, социальных или так называемых «крестьянских» романах³, но и в самих его воззрениях на роман (см. [9])⁴.

Некоторые польские исследователи даже полагают, что Крашевский шел по пути, проложенному Белинским [11], другие считают, что к подобным идеям он пришел самостоятельно [12]. Этот деликатный вопрос трудно решить однозначно, здесь более важен сам факт близости воззрений Крашевского и Белинского.

Популярность Крашевского в России [13; 14] объясняется близостью разрабатываемой им проблематики и самой авторской позиции гуманным и демократическим тенденциям в русской литературе.

Ю. И. Крашевский становился писателем в пору, когда романтический порыв захлебнулся в крови восстания 1830 г. и медленно угасал в застойной атмосфере старопольского бытования, под напором нараставших буржуазных преобразований. В силу особенностей своей натуры он изначально тяготел к реализму. Занятия историей, археологией, этнографией, фольклором отразились в его стремлении к документальной точности и предельной достоверности отображения прошлого и современной повседневности в художественных произведениях. Крашевский — журналист, описывающий быт, нравы, образ мыслей представителей разных сословий, поднимающий насущные проблемы своего времени и своего

² Можно привести множество интересных суждений Крашевского о Тургеневе, например: «После Гоголя в русской литературе не было столь гениального писателя, как Тургенев» [5]. В библиотеке Крашевского было «Первое собрание писем И. С. Тургенева» (СПб., 1885), «Новь» (на русском и польском языках), французские издания «Рудина», «Дневника лишнего человека», «Вешних вод», «Стенного короля Лира», «Избранных рассказов» и др. (см. [6]).

³ В этом отношении симптоматичен его роман «Ульяна» (1843, русский перевод — 1858), тематически и проблемно близкий «Деревне» (1846) Л. В. Григоровича. В свое время в русском и польском литературоведении высказывалась мысль о воздействии этого романа Крашевского на драму А. Ф. Писемского «Горькая судьбина» (1859) (см. [7; 8]).

⁴ О жизни, творчестве и идейно-эстетических воззрениях Крашевского см. [10].

окружения, сродни Крашевскому-писателю, который в своих романах создает достоверные и социально-заостренные картины жизни.

Крашевский-живописец, подобно Крашевскому-прозаику, стремится к точному воспроизведению особенностей пейзажа, игры света и тени — природы в самом широком ее понимании. Вместе с тем в его картинах, акварелях, акватинтах, рисунках, иллюстрациях — как и в его прозе — угадываются настроение автора, его переживания, мысли — все то, что определялось понятием «души».

Если в отражении событий прошлого и современности, воссоздании свойственных разным эпохам характеров и конфликтов, особенностей языка, культуры, быта проявлялись реалистические стороны дарования Крашевского, тяготевшего к реалистическим тенденциям современной европейской литературы, то изображение внутреннего мира героев, их чувств и переживаний — всего микрокосма личности, всей эмоциональной сферы бытия — осуществлялось при помощи романтических приемов. И может быть этим так близок Крашевский читателю разных времен: реалистический анализ жизни, характеров и коллизий дает пищу уму, романтическая разработка внутреннего мира персонажей питает сердце. Современникам он помогал понять свою реальность, а в ней — самих себя; потомкам — познать то, что ушло в прошлое, а благодаря этому — свои национальные, социальные, культурные корни. И современникам, и потомкам он близок тем, что вне времен и над временами: его романы, поэтические произведения, публицистика, литературно-исторические исследования приближали читателя главное — добрые и светлые стороны человеческой души, устремленность к правде и справедливости.

Крашевский всегда остро переживал социальную несправедливость. Он первым в польской литературе показал крепостных как равноценных членов общества и литературных героев. Ему всегда были глубоко чужды любые проявления шовинизма. И на страницах его произведений — вопреки распространенным предубеждениям — появлялись поляки, украинцы, белорусы, евреи, литовцы, представители других национальностей Речи Посполитой как «равные перед Богом», характеризующиеся не по национальным и конфессиональным признакам, а личным качествам.

Крашевский был первым из польских романистов, кто разглядел новые, только еще назревавшие проблемы, едва вырисовывавшиеся конфликты и возникавшие типы, которые порождались преобразовывавшейся на буржуазный лад реальностью. Его многогранная деятельность и феноменальная работоспособность снискали ему при жизни славу «титана труда» и «человека-института». Автор свыше 600 томов, он превзошел Бальзака и Дюма-отца — образцы литературной плодовитости.

Польский роман, имевший весьма давние традиции (см. [15; 16]), но художественно уступавший поэтическим жанрам, Крашевский первым поднял до уровня ведущего жанра, получившего европейскую известность. Многие его произведения вскоре после польских изданий появлялись в переводах на русский, немецкий, французский, чешский и другие языки. Еще при жизни Крашевского молодая плеяда польских писателей, которым суждено будет стать олицетворением крупнейших свершений национального реализма (Б. Прус, Э. Ожешко, Г. Сенкевич, М. Конопницкая), признала его своим предтечей и учителем. «Как ветки от дерева, — писала Ожешко, — так и мы от него берем свое начало» [17]. Это признание нового поколения польских реалистов весьма симптоматично для той стадии литературного процесса в Польше, которую Крашевский (наряду с Т. Т. Ежем, Ю. Коженевским, Ю. Дзежковским) подготавливал своим творчеством. В своей литературной деятельности он прошел длительную эволюцию, начиная от традиций позднего Просвещения. Русская (как и западноевропейская) рецепция его произведений отражает закономерности развития этих литератур, восприимчивых к тем свершениям соседей, которые близки, понятны и созвучны местным общественно-литературным устремлениям. Поэтому изучение восприятия Крашевского в России (как и в других странах) поможет глубже и шире понять русскую и польскую литературную жизнь в общем контексте европейского процесса.

Крашевский сотрудничал с русскими журналами, издававшимися в Петербурге, Москве, Киеве, Вильне, Риге и других городах. Среди этих изданий были и весьма известные, игравшие важную роль в литературной жизни страны, как например, «Библиотека для чтения», которую с 1856 г. возглавил критик-славянофил А. В. Дружинин. Именно с его приходом здесь начинает публиковаться Крашевский. Один за другим появляются переводы его романов: 1856 г. — «Хата за околицей», 1857 г. — «Комедианты», 1858 г. — «Остап Бондарчук», «Уляна», 1859 г. — «Два света».

Крестьянская проблематика и вопросы изначальных устоев национального бытия, социальные взаимоотношения в условиях парастания буржуазных преобразований, уже свершившихся на Западе — именно эти темы, волнующие редакцию журнала и его читателей, освещаются Крашевским на польских и украинских материалах.

К. В. Заводзинский отметил, что «крестьянские романы» Крашевского, в частности, «История Савки» (1842) и «Уляна» (1843) появились раньше «Деревни» (1846) и «Антон-Горемыки» (1847) Д. В. Григоровича, «Хоря и Калиныча» (1847) И. С. Тургенева, которые открывают крестьянскую проблематику в русской реалистической литературе [18].

В силу общности назревших социальных проблем и самой направленности литературного движения вполне понятен интерес русской общественности к этой стороне творчества Крашевского. Общность проблем, волновавших русскую и польскую образованную среду, обусловила в русской и польской литературах явление, определяемое А. Н. Веселовским как «встречные течения». Именно эти «течения» (и стоявшие за ними общественные проблемы, попытки их идейно-художественного осмысления) стали основой взаимного интереса, вопреки известным сложностям взаимного сосуществования. Именно благодаря этим «течениям» Крашевский переводился на русский, а Тургенев — на польский; именно поэтому, спустя годы, известный историк, поэт, переводчик Н. В. Берг мог констатировать: «Крашевского знает вся русская интеллигенция по переводам на русский язык многих его произведений» [19].

Публиковался Крашевский и в «Русском слове», причем в год прихода (1860) в редакцию Д. И. Писарева, чья деятельность открывает новую полосу истории этого журнала как органа русской демократии. Здесь выступали представители демократической беллетристики, вошедшие в историю как «шестидесятники» — В. А. Слепцов, Г. И. и Н. В. Успенские, Ф. М. Решетников и др. Активное отношение к реальности, которую нужно преобразовать, сделать более человечной, трактовка личности в ее связях со средой как продуктом определенных социально-экономических отношений, труд как мерило ценности человека, противопоставленность традиционной дворянской идеологии и сама тенденция этого направления были близки Крашевскому и части представителей польской литературы (Т. Т. Еж, Ю. Коженевский, Ю. Дзежковский и др.). В этом журнале печаталась и проза о «новых людях», именуемых так после романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», который стал истоком целой тенденции в русской демократической беллетристике (В. А. Слепов, Н. Ф. Бакин, К. М. Станюкович, А. О. Осипович и др.).

В своем стремлении изменить жизнь с ее устоявшимися представлениями, застойным бытом, социальной несправедливостью, предрассудками «новые люди» со своей верой в идеалы и желанием действовать не только пришли на смену «лишним людям» в русской литературе — они знаменовали возникновение нового этапа в общественной жизни России.

Сходные по своей социальной сути процессы переживало и польское общество. «Роман без названия» (1854)⁵ — предвестник тенденции, близкой «новым людям» в русской литературе. Главный герой романа — Станислав Шарский — выбирает жизненный путь вопреки шляхетским традициям и взглядам среды. Его возлюбленная Сара также порывает с отгородившимся от новой реальности традиционализмом еврейской среды.

⁵ Его русский перевод см. в [20].

Наиболее заостренный образ «новых людей» как уже сформировавшегося общественного явления Крашевский показал в романе «Безумная», вышедшем в польском и русском журнальных изданиях в 1880 г. Наряду с полным русским переводом в журнале «Еженедельное новое время» (1880, т. 5) печатались и фрагменты в «Телеграфе» (1880, № 5, 6, 11, 12). Отдельное же его русское книжное издание [21] на год опередило польское. Уже в следующем году появляется новый перевод в двух томах [22]. Второе издание первого перевода появляется в 1892 г. Орывки из него публикуются в журнале «Звезда» (1899, № 4, 5) ⁶.

В чем же причина русского успеха этого художественно не наилучшего произведения Крашевского? Ответ на этот вопрос может помочь осмыслению более широкой проблемы: в чем причина непреходящего успеха романов Крашевского, который не создал произведений масштаба «Камо грядеши?» Сенкевича или «Фараона» и «Куклы» Пруса? ⁷

«Безумная» в польской литературе стоит у истоков той же тенденции, что «Отцы и дети» (1862) Тургенева в литературе русской. Правда, здесь, под воздействием определенных событий и особенностей русской реальности, она обрела особую остроту в жизни и особый удельный вес в литературе. Изменения в русской действительности обусловили развитие и трансформацию этой темы и в творчестве самого Тургенева («Дым», «Новь»), и у других писателей («Обрыв» И. А. Гончарова, «Взбаламученное море» А. Ф. Писемского, «Некуда» Н. С. Лескова). Нареченная «антинигилистической», эта тенденция с 70-х годов деградирует идейно и художественно (см. [23]). «На ножах» Н. С. Лескова, «Панургово стадо» В. В. Крестовского, «Марев» В. П. Ключникова, «Марина из Алого рога» Б. М. Маркевича — знакомство с этими романами понудило Тургенева отмежеваться от связываемой с его именем литературной тенденции (см. [24]). «Новые люди» здесь предстают темной силой, ниспровергающей основы государственности, религии и морали. Нигилизм становится аналогом преступности, всяческих извращений, беспринципности, вырождения, аморальности.

Этому течению противостояло другое, представленное такими произведениями, как «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, «Грудное время» С. М. Степняка-Кравчинского, «По градам и весям» П. В. Засодимского, «История» А. О. Осиповича-Новодворского, «Доброволец» В. И. Дмитриева, «Нигилистка» и «Нигилист» С. В. Ковалевской и др. В этой общественной атмосфере, в таком литературном противостоянии возникает и роман Ф. М. Достоевского «Бесы», который стоит особняком как каждое гениальное произведение. Реальная история (дело Нечаева) и «проклятые проблемы» бытия здесь обрели свое целостное переосмысление.

Крашевский, который ныне некоторыми польскими критиками иногда снисходительно рассматривается как «старосветский» писатель, оказался, говоря метафорически, в «круге» «Бесов». Это утверждение имеет двойкий смысл: вхождение Крашевского в круг проблем, особо волновавших русских писателей и получивших глубокое философско-художественное воплощение в «Бесах», и близость Крашевского русскому читателю, русской литературе в силу тех позиций, которые он занимал.

Подобно Тургеневу, Крашевский, непосредственно не связанный с враждовавшими группировками, в это время отличался широтой, открытостью воззрений и оценок, выходящих за ограничивающие рамки отдельных программ, связанных с «сиюминутной» ситуацией. Отсюда — более глу-

⁶ Новый перевод этого романа под названием «Сумасбродка» см. в [23].

⁷ В Польше Крашевский до сих пор бьет рекорды читательской и отражающей ее издательской популярности. В 1973 г. в еженедельнике «Kultura» (№ 32) появилась статья С. Бортновского «Камо проигрывает Крашевскому», основанная на социологическом опросе массовой читательской аудитории. В 1974 г. Я. Окопень в том же еженедельнике (№ 18) писал, основываясь на данных издательской статистики: «Никто из читателей даже в перспективе далекого будущего не в состоянии посягнуть на место, которое занимает Крашевский». В 1945—1986 гг. вышло 523 издания его произведений общим тиражом 20 824 000, что для польских масштабов — цифры воистину космические.

бокое и объективное видение внешней реальности и внутреннего мира индивидуума.

Как же среди разных линий литературной борьбы вырисовывается линия Крашевского?

Прежде всего, для него точкой отсчета были польская литература и польская действительность. Здесь новые веяния, связанные с социалистическими учениями и революционным движением, вызывали критику за их непольские корни — западные или русские. (Польские студенты, обучавшиеся в учебных заведениях России, участвовали в русском революционном движении и привозили в Польшу новые идеи.)

В России шовинистический дух был свойственен антинигилистическому роману (особенно с 70-х годов): все истоки и сами силы зла связывались с «инородцами».

Позиция Крашевского, как позже и Ожешко, создавшей в 1879 — 1882 г. цикл произведений под общим названием «Призраки», не имела и не могла иметь шовинистического оттенка, как не было его никогда у Тургенева. Однако и Крашевский, и Ожешко были убеждены в несоответствии такого рода идей польским традициям, условиям, складу мышления (в романе Крашевского это воплощает антипод главной героини Эварист Доргоуб и его близкие). Крашевский, как потом и Ожешко, верил, что общественный прогресс осуществим только на пути естественной эволюции.

В самих оценках нового движения Крашевский особенно близок Тургеневу. Можно даже провести некоторые параллели между Базаровым и Теофилом Загайло (у обоих простое происхождение, медицинская профессия, даже умирают подобным образом); между Кукшиной и Гелиодорой Пармиńskiej. Главная героиня Зоня Рашко в ряде своих поступков близка Елене из романа Тургенева «Накануне», сродни и Лизе Бахаревой из «Некуда» Лескова. Евлашевский в некоторых проявлениях своего характера схож с Зарницыным и Пархоменко из того же романа. И еще одна параллель: Эварист, как и Розанов («Некуда»), входит в круг «новых людей». Оба они трезво оценивают эту среду, видят честных идеалистов (Зоня — в «Безумной», Лиза и Райнер в «Некуда»), оторванность их идей от конкретной реальности и легкомысленное либо просто никчемное и подлое их окружение.

Сходным образом выведены и сопоставлены в этих романах два женских типа (Зоня — Мадзя, Лиза Бахарева — Женни Гловацкая) как воплощение новых принципов и традиционной женской добродетели. Подобен и грустный жизненный финал Мадзи и Женни — тоже идеалисток, но иного — позитивного — плана. Тем самым как бы уравниваются, предстают как равноценные «нигилистические» и «позитивные» идеалисты: честные и глубоко преданные идее, они открываются от сложной и противоречивой реальности. Отсюда шаткость их идейного положения, отсюда и их личная неустроенность.

Эти совпадения — отнюдь не свидетельства литературных влияний. (Сюжет романа и отдельные образы были подсказаны Крашевскому издателем Л. Енике.)⁸ «Влияла» тут на польских и русских писателей сама жизнь — то, что начинало все более и более беспокоить как польское, так и русское общество.

В романе Крашевского лишь Зоня (подобно тургеневским Рудину и Ирсарову, лесковским Лизе и Райнеру) среди всего своего окружения «единомышленников» является действительно человеком идеи и не отходит от нее до конца. Такая всепоглощающая верность исключает возможность личного счастья. По сути эти персонажи, как и Рахметов Чернышевского, — литературные прообразы первых профессиональных революционеров-одиночек. Они одиноки даже в своем окружении, ибо «мошенничество

⁸ В письме от 15 XII 1878 г. он писал Крашевскому: «Среди многих болезней века есть рана, которая начинает беспокоить и нас: нигилизм, распространяемый молодыми, а часто и прекрасными женщинами. Мне представляется, что на таком фоне можно было бы построить хороший современный роман... Если бы, к примеру, начать действие в каком-нибудь университетском городке и вывести на сцену несколько таких нигилистов, обескураживающих молодежь своими теориями...» (цит. по: [25]).

примкнуло к нигилизму» (Лесков), а практика «бесов» (Достоевский) превратила чистую идею в ее зловещую противоположность.

В обрисовке проблемы Крашевский близок Тургеневу, а в трактовке главной героини — Лескову. Зоня, как и Лиза, отличается от «прогрессивных вшей» (Достоевский о Кукшиной) внутренней чистотой, цельностью натуры, отсутствием позы, верностью в служении чистой идее. У таких людей вера в идею означает жизнь ради нее и в соответствии с ней — самореализацию себя в ней. Обе они далеки от безнравственной практики моральных людей, пытающихся реализовать идею вне морали или, следуя моде, примазаться к идее. Обе они по мере взросления — после всех разочарований и неудач — сближаются с «чистым духом» революционеров. И обе они теряют этих самых близких им людей в огне восстания (в случае Лизы это польское восстание 1863 г., в случае Зони — Парижская Коммуна).

Подобно Тургеневу, Крашевский не видит перспектив для самореализации своей героини на родной земле. Инсаров гибнет по дороге в Болгарию, а Елена занимает его место в рядах повстанцев. Рудин гибнет на французских баррикадах. Зоня оказывается в рядах коммунаров (как, впрочем, и многие ее земляки, которых хорошо знал сам Крашевский и олицетворением которых в глазах Европы стал генерал Парижской Коммуны Я. Домбровский), а потом служит идее своим пером — во Франции.

В образе главной героини «Безумной» (по-польски — «Szalona») Крашевский по-своему продолжает и развивает линию «неистовой литературы» (по-польски — *literatura szalona*). Его Зоня неистова (*szalona*) в стремлении осуществить свой идеал в жизни, поэтому для филистерского окружения она — «безумная». Она из тех «романтиков реализма», кто предан идее до конца и поэтому не может быть понят теми, кто стремится сохранить привычный уклад. Для них в своей одержимости новыми идеями она «безумна». Безумной называет ее офицер, руководящий расстрелом коммунаров, когда она просит его расстрелять и ее вместе с товарищами по борьбе. Она из рода тех «храбрых», чье «безумство» вело к практическому осуществлению мечты об общественном переустройстве мира⁹.

Редактор варшавского журнала «Tygodnik Pustrowany» Л. Енике, заказавший Крашевскому «Безумную» и предложивший ему тему и сюжет, опубликовать ее не решился. Для умеренного редактора консервативного журнала этот роман оказался слишком неоднозначным и смелым. По-тургеневски неоднозначным и по-тургеневски смелым. В этом причина русского успеха «Безумной».

Как показал обмен мнениями на посвященной Крашевскому международной конференции, которая была организована Люблинским университетом им. М. Кюри-Склодовской в мае 1987 г., изучение связей писателя с русской литературой и освещение рецепции его творчества в России помогают глубже понять не только общеевропейский характер и значение его наследия, но и лучше увидеть со стороны то новое, что он внес в польскую литературу. В этом отношении роман «Безумная», оказавшийся в стороне от основных интересов польских литературоведов¹⁰, свидетельствует, как чутко ощущал Крашевский насущные вопросы жизни, как он пытался не только увидеть прошлое в настоящем, но и предугадать в движении настоящего сокрытое будущее, по-своему ответить на роковой и извечный вопрос: «Камо грядеши?».

Осмысление Крашевским вопросов бытия личности, общества, народа воплощалось в художественной форме, близкой и понятной широким читательским кругам. Вырисовывающийся в контексте художественных произведений Крашевского образ автора, тип и позиция рассказчика как бы представляют фигуру доброго и расположенного к читателю собеседника, что было в свое время отмечено П. Хмелевским [26]. И такое польское восприятие оказалось близким восприятию русскому. Поэтому-то

⁹ Поэтому перевод названия романа как «Сумасбродка» (в изданиях 1882 г. и 1987 г.) искажает и суть главного образа, и саму поставленную проблему, и характер ее освещения Крашевским.

¹⁰ У нас этим романом занималась Е. З. Цыбенко [9].

отнодь не случайно журнал «Мир Божий» [27] опубликовал перевод фрагментов работы П. Хмелевского, где уже по-русски звучали следующие строки: «Крашевский умный человек, с которым всегда приятно встретиться и побеседовать» (цит. по: [2]).

Люди испытывают потребность не только в пророках, титанах, вождях, чьи идеи, слова и действия обретают гигантские масштабы и превращаются в символы. Люди нуждаются и в чутком, умном и расположенном к ним собеседнике, рассуждающем о делах повседневных, проблемах близких и будничных, идеях, вырастающих из быта и обыденных будней. Именно таким душевным собеседником был Крашевский. И не только для поляков, но и для русских. Может быть, именно в этом корни его вот уже почти полуторавекового успеха в Польше и России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вестник Европы, 1879, кн. XI, с. 416.
2. *Курайт И. Л.* Польская художественная литература в русской и советской печати. Т. 2. Wrocław etc., 1986.
3. Tygodnik Ilustrowany, 1984, № 2.
4. *Borowy W.* Studia i rozprawy. Т. 1. Warszawa, 1952, s. 208—209.
5. Tydzień, 1870, № 43.
6. *Pawlik M.* Katalog księgozbioru rękopisów, dyplomów, rycin pozostałych po ś. p. Józefie Ignacym Kraszewskim. Lwów, 1888, s. 290, 291, 293, 337.
7. *Лобода А. М.* Горькая судьбина Пшемского и ее литературный прототип. Киев, 1996, с. 11.
8. *Hahn W.* Wstęp do: J. I. Kraszewski. Morituri. Kraków, 1925, s. CXXV.
9. *Цыбенко Е. З.* Польский социальный роман 40—70-х годов XIX в. М., 1971, с. 34—42.
10. История польской литературы. М., 1968, с. 382—417.
11. *Inglot M.* Polskie czasopisma literackie; ziem litewsko-ruskich w latach 1832—1851. Warszawa, 1966, s. 180.
12. *Цыбенко Е. З.* Из истории польско-русских литературных связей XIX—XX вв. М., 1978, с. 68—69.
13. *Прокофьева Д. С.* Отклики русской общественности на творчество Крашевского.— Известия АН СССР, серия литературы и языка, 1963, вып. 3, с. 532—533.
14. *Kucharska E.* Początki sławy literackiej J. I. Kraszewskiego w Rosji.— Slavia Orientalis, 1963, № 4.
15. *Липатов А. В.* Формирование польского романа и европейская литература. Средневековье, Возрождение, Барокко. М., 1977.
16. *Липатов А. В.* Возникновение польского просветительского романа. М., 1974.
17. Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J. I. Kraszewskiego. Warszawa, 1880, s. 43.
18. *Zawodziński K. W.* Opowieści o powieści. Kraków, 1963, s. 19—20.
19. Новое время, 1878, № 995.
20. *Крашевский Ю. И.* Дневник Серафины. М., 1987.
21. *Крашевский Ю. И.* Безумная. СПб., 1881.
22. *Крашевский Ю. И.* Сумасбродка. М., 1882.
23. *Батюто А. И.* Антиингилистический роман 60—70-х годов.— В кн.: История русской литературы. Т. 3. Л., 1982.
24. *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-и т. Т. 14. М.—Л., 1967, с. 105.
25. *Burkot S.* Kraszewski a wydawcy.— Pamiętnik Literacki, 1958, z. 1, s. 226.
26. Józef Ignacy Kraszewski. Zarys bibliograficzno-literacki. Skrośił P. Chmielowski. Kraków, 1888.
27. Мир Божий, 1895, № 1, приложение, с. 3—6.



К ИСТОРИИ ПЛЕМЕННОГО ДИАЛЕКТА КРИВИЧЕЙ

Большинство известных древнерусских диалектных различий не может рассматриваться в качестве пережитков племенных языков дообщевосточнославянского периода. Эти различия либо действительно поздние (например, несомненно возникшие после падения редуцированных), либо имеют ярко выраженный ареальный, наддиалектный характер (взрывное /фрикативное *з*, аканье и т. д.) [1]. В большинстве своем оказавшиеся бесплодными попытки возвести те или иные черты восточнославянских диалектов к дописьменной эпохе племенных языков (кривичскому, радимичскому, древлянскому и т. д.) привели к тому, что во второй половине XX в. окончательно утвердилось мнение о чрезвычайной трудности и даже невозможности найти под позднейшими напластованиями старые диалектные особенности (см., например, [2]). Этому способствовала и гипотеза происхождения всех восточнославянских диалектов из единого правосточнославянского языка, являвшегося диахронической ступенью между восточнославянскими диалектами и позднепраславянским диалектно раздробленным языком — гипотеза, никем строго не доказанная, а просто принятая на веру (см. попытку реконструкции правосточнославянского в [3]).

Эта гипотеза была подвергнута серьезному пересмотру лишь в последние годы, когда А. А. Зализняк в результате анализа языка древненовгородских берестяных грамот пришел к выводу, что «в целом древненовгородский предстает как сильно обособленный славянский диалект, отличия которого от других восточнославянских диалектов в части случаев восходят к праславянской эпохе» [4, с. 51]. Дальнейшие исследования показали, что «довосточнославянские» черты, отмеченные Зализняком в древненовгородском, являются лишь частью гораздо более обширного комплекса специфических признаков, вошедших в древненовгородское койне из говоров древнепсковского типа (см. [5]), в свою очередь принадлежащих к псковскому диалекту распространенного на обширной территории кривичского племенного диалекта (см. [6]). На основании анализа сохранившихся в северо-восточных и западных белорусских и западных и северо-западных великорусских говорах системных архаизмов древнейшего периода, в значительной мере стертых и затемненных позднейшими явлениями, которые возникали самостоятельно либо заимствовались из сопредельных некривичских систем, мы можем сделать реконструкцию отдельных частей системы кривичского племенного диалекта.

Лингвогеографические ареалы приводимых ниже особенностей, возводимых нами к кривичскому племенному диалекту, очень точно ложатся в археологический ареал кривичей (см. [6—9]), а те случаи, когда данные черты обнаруживаются вне этого ареала, легко находят объяснение,

Николаев Сергей Львович — канд. филол. наук, научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

например, в переселении носителей кривичских диалектов на новые территории уже в историческое время.

Проекция в древность обнаруживаемых кривичских архаизмов дает возможность реконструировать прежнее членение племенного языка кривичей, который делился на: 1) *псковский диалект*, делящийся в свою очередь на севернопсковский, центральнопсковский и южнопсковский; производными от севернопсковских являются северновеликорусские онежские говоры и многие северо-восточные (вятские, уральские, сибирские) великорусские говоры на территории нового заселения; 2) *древненовгородский диалект* (древненовгородские койне), сложившийся при взаимодействии псковских и ильменско-словенских (не кривичских) говоров (см. [5]); 3) *смоленский диалект* (к нему восходит часть западных великорусских и северо-восточных белорусских говоров); 4) *верхневолжский диалект* (к нему восходит большинство «селигеро-торжковских» и тверских великорусских говоров); 5) *полоцкий диалект* (на его основе сформировались северные и северо-западные белорусские говоры); 6) *западный диалект* (к нему восходят белорусские говоры северной Гродненщины). Древнекривичские говоры (в основном южнопсковские и смоленские) приняли участие в формировании многих великорусских говоров к востоку от Москвы (восточная часть «кривичского пояса» — см. [6, с. 137—141]).

Некоторые из важнейших фонетических и акцентологических черт, которые, с одной стороны, противопоставляют кривичские диалекты другим восточнославянским, и, с другой стороны, дают несколько различные рефлексy в разных кривичских по происхождению системах, приводятся в табл. 1 и комментариях к ней.

Таблица 1

	Псковский	Смоленский	Верхневолж.	Полоцкий, западный
1. Рефлексy *ѡ: а) в позиции -ѡjь б) в позиции -ѡjV	особые рефлексy (см. комментарий)	*-ѡjь *-yjV	*-ѡ ⁰ jь *-ѡ ⁰ jV	*-yujь *-ujь
2. Рефлексy *ѡ, *ѡ перед *N', Nj	*ѡ/*y/*ѡ ⁰ *ѡ/*i	?	*ѡ ⁰ *ѡ	*ѡ ⁰ *ѡ
3. *k, *x в позиции II палатализации	k', x'	č'/č', s	c'/c, s'	c, s'
4. *tj, *dj, *sj, *zj перед -a-	k, g, x, γ	k, z, s, γ	k, z, s, z	k(/č), ž, s, ž
5. *Tl (-*tl, *dl)	kl-, -gl-	kl-, -l-	l-, -l-(-kl-)	kl-/l-, -dl-/l-
6. Рефлексy *ѣ	'e/'a	'e	'e ('e)	'e/'ä
7. Сохранение окситонезы в ед. ч. у существительных а.п. d	около 80%	отдельные слова	около 40%	40—50%
8. Наличие краткостной оттяжки при отсутствии долготной	во всех диалектах			

Комментарии к таблице 1

П у н к т 1. В большинстве кривичских в основе говоров особое развитие имеют так называемые «напряженные» *ѡ, *ѡ, восходящие к праслав. *y, *i и *ѡ, *ѡ перед -j-. Наибольший интерес представляет развитие *ѡ, который по говорам, помимо «общерусского» o (<*ѡ⁰) и «общebelорусско-украинского» y в любых позиционных условиях, дает иные рефлексy либо

рефлексы, распределенные по особым позициям. Для большинства кривичских по происхождению говоров (за исключением потомков западного, полоцкого и верхневолжского диалектов) характерны две такие позиции: 1) перед праславянскими редуцированными следующего слога (например, окончание *-ъjъ членных прилагательных м. р.); 2) в прочих условиях (например, в презенсах у-глаголов: *mъjъ, *rъjъ).

В кривичских по происхождению говорах встречаются следующие системы, образующие по большей части компактные лингвогеографические ареалы: 1) восточнорусская, с рефлексом *ь^о в обеих позициях (*молодѣи* : *мѣю*); 2) западная, с рефлексом *у в обеих позициях (*молодѣи(ѣ)* : *мѣю*); 3) смоленская, с рефлексом *ъ > э/е в 1-й позиции и *у во 2-й позиции (*молодѣи* / *молодѣи* : *мѣю*); 4) I южнопсковская с рефлексом *ъ в обеих позициях (*молодѣи* / *молодѣи* : *мѣю* / *мѣю*); 5) II южнопсковская система с *ъ^о в 1-й и *ъ в 2-й позиции (*молодѣи* / *молодѣи* : *мѣю* / *мѣю*); 6) деснинская система с *ъ^о в 1-й и *у во 2-й позиции (*молодѣи* / *молодѣи* : *мѣю*); 7) новгородская система с *у либо *ъ в 1-й позиции и *ъ^о во 2-й позиции (*молодѣи* / *молодѣи* : *мѣю*). Только в кривичских по происхождению говорах встречаются системы 3, 4, 5 и 7 (подробнее см. [6, с. 118—121]).

П у н к т 2. Специфической чертой псковских говоров (а также, видимо, части смоленских) является переход *ъ > е/ы и *ъ > 'и перед исконно мягкими сонантами (*п', *л', *г' = *пj, *lj, *gj) и новыми сочетаниями сонант + j (л'j, п'j, в'j, г'j < љj, пьj, вьj, гьj). Иными словами, в псковском и смоленском диалектах редуцированные в данной позиции (перед мягкими сонантами, но не старыми полумягкими перед гласными переднего ряда) получали то же фонетическое качество, которое было свойственно в тех же говорах «напряженным» *ъ и *ъ перед j, и развивались в дальнейшем как последние (материал взят из [10; 11]): псков. *одѣнье* / *одѣнье* < *одѣнье; *вдѣль* 'вдоль' < вѣдѣlj; *острѣвьѣ* / *острѣвьѣ* < *ostrѣвьѣ; *гилѣк* / *гилѣк* 'рукомойник' < *гьljьк, *молѣнья* 'молния' < *mъljъja. смолен. *вапѣрь* 'кабанчик' < *ver(ь)gьj; также псков. *болѣньѣ* / *болѣньѣ* < *bol(ъ)пье с особым развитием «полногласного» сочетания; ст.-смолен. *Смолинскъ* < *smolъnjьskъ. В древненовгородском, верхневолжском, полоцком и западном кривичских диалектах *ъ и *ъ в данной позиции развивалось по «общевосточнославянскому» типу (впрочем, в верхневолжском, где *ъ > о, невозможно отличить «псковско-смоленский» тип развития от «общевосточнославянского»).

Особое развитие *ъ и *ъ перед мягкими сонантами является специфически кривичской чертой. Оно связано с тем, что в кривичских диалектах (по крайней мере в псковском и в части смоленских говоров), по-видимому, до эпохи падения редуцированных и даже позднее сохранялось различие между твердыми, полумягкими (возникшими из твердых перед гласными переднего ряда) и мягкими сонантами старого и нового происхождения (п' ≤ пj, п'j < пьj и т. п.). Видимо, в пракривичском существовал целый ряд переднеязычных мягких согласных — кроме сонантов, также *t, *d', *s', *z' (см. ниже, пункт 4).

П у н к т 3. Давно известно «отсутствие второй палатализации» (вернее, аффрикатизации рефлексов веларных *к, *х и превращения в s' праслав. *x в позиции II палатализации) в псковских говорах и отчасти в древненовгородском диалекте (см. [4; 12—14]). Речь идет в основном о рефлексах корневых *к, *х в *кѣрь 'цеп' и 'палочка', *кѣдити 'цедить', *кькькѣ 'церковь', *кѣвь 'полая палочка, шпулька', *кѣль 'целый', *кѣна 'цена', *хѣгь 'серый', *хѣдъ 'седой', псков. *кеп* 'цеп; нить или круглая палка, употребляемая для сохранения параллельности основных нитей ткани' и производные от этого слова; *кевь*, *кевка* и т. п. 'ручка цеха; шпулька'; *кедитъ*, *кеж* 'цедить; процеженный настой'; др.-новгор. *хѣре 'серый'; *кѣле* 'целый'; *крькьвь* 'церковь' (см. [6; 10; 12; 14; 15]), *хѣде 'седой' (в топонимии и антропонимии).

В псковских и новгородских говорах засвидетельствована также и другая система, «новопсковская», при которой *к в позиции I и III палатализаций дает ц, в позиции II палатализации — ц'/ч' (ц'ѣлый, ц'ѣркоф/

чёрква, ч'эд'им — но цорт. *цбстый, ўл'ица, на ўл'ицэ* и т. д.). В смоленском диалекте (как в великорусских, так и в белорусских говорах) распространена «смоленская» система с совпадением рефлексов I и II палатализаций в *ч/ч' (/ч')* и противопоставленным им рефлексом III палатализации (обычно *ц*): *ч'авіна, чап'эц, ч'ёркэв, чына, ч'еп; кр'ичат, н'ич'авб, унйч'ек, ўскоч'ит'*, но *ўл'ица, кўр'ица, ў канцэ* и т. п. В верхневолжском диалекте распространена система с противопоставлением *ч' < *к* в позиции II палатализации, *ч(') < *к* в позиции III палатализации и *ц < *к* в позиции I палатализации (*ч'еп : ч'истэй : ўл'ица*). В полоцком и западном диалекте, а также во многих говорах, возникших на основе верхневолжского кривичского диалекта, развитие шло по «общевосточнославянскому» пути (**к^е, *ik > ц('), *к^е > ч(')*). В древненовгородском, по-видимому, в разное время были представлены различные системы (сначала «псковская», потом «новопсковская», затем восточная «ильменско-словенская» система с совпадением рефлексов всех палатализаций в одной аффрикате типа *ч''/ч''*).

В смоленском, полоцком и западном диалектах **х* в позиции II палатализации дает *ш* (смолен. *шэрый*, сев.-белор. *шэры(й)*); в верхневолжском рефлексом в этой позиции является, видимо *с'* (*с'эроу*) (см. [6, с. 141—152]).

П у н к т 4. Развитие **tj, *dj > к, г* и **sj, *zj > х, γ* перед *-а-* и *-о-* в псковских и смоленских говорах доказывается на следующих примерах: 1) псков. *ноха* «поша» *< *nosjä*; *наўга* «пресыщение» *< *na-ṛōdjā*; *удѣка / вдѣка* «удача» *< *уѣ-datjā*; *надѣга* «надежда» *< *na-dedjā*; олон., новг. *запрѣка* «досада» *< *za-ṛētjā*; смолен. *молога* «молодые растения» *< *moldjā*; *зупѣга = *зѣпага* «пазуха» *< *za-razjā*; 2) итеративные глаголы на *-ja-*: псков. *скѣхъвать* «скашивать (косой)» *< *kasjlo|vati*; *прикрѣхъвать* «прикрашивать» *< *krasjlo|vati*; *мехѣть* «мешать» *< *mēsjeti*; *прахѣть, прѣхъвать* «просить» *< *prasjati, *prasjlo|vati*; *вѣхѣть* «вешать» *< *vēsjati*; *нахѣвать* «носить» *< *nasjlo|vati*, *нагрѣхъвать* «грозить» *< *grazjlo|vati*, *ваѣвать* «возить» *< *vazjlo|vati*, *рогѣть* «рожать» *< *rodjati*; псков., смолен. *сострекаѣть, встрекаѣть* «встречать» *< *sṛētjati*; псков. *о-, выпругѣть* «вываливать» *< *ṛōdjati*; *впѣкѣть* «засунуть» *< *ṛētjati*, ср. *в-пѣтитъ; богѣть* «бодать» *< *bodjati*, ср. псков. *бодѣть; завекаѣть, завековѣть* «давать зарок, завещать» *< *vētjati, *vētjlo|vati* и т. д. (см. [6], где приводится документированный материал). В верхневолжском, полоцком и западном диалекте известно лишь **tj > к* перед *-а-* (и, видимо, *-о-*): сев.-белор. *сустракаѣць, замакаѣць*, тогда как **dj, *sj, *zj* дают «общевосточнославянские» рефлексy *ж(')*, *ш(')*. В древненовгородском, судя по данным берестяных грамот, все рефлексy «общевосточнославянские» (*ц/ч, ж, ж, ш*) (см. [5, с. 62]).

Сложнее дело обстоит с рефлексами **tj, *dj, *sj, *zj* в позиции перед другими гласными (не *а* и *о*). Видимо, в псковском мы имеем **tj > -к' / -m' -*, **dj > -дз' - > -з' -* (*гѣт'и* «штаны» *< *gatjé*, онеж. *мезѣнь* «жаркая пора, штиль» *< *medjēнь, рѣзий*, «рыжий» *< *rydъjъ*), также *-ц(')*, *-ж < *-tъjъ, -dъjъ* (суффикс *-иц(')* *< *-itъjъ*, онеж. *кеж < *kēdъjъ*, ср. чеш. *cez* «cedítko»); рефлексy **sj* и **zj* в этой позиции точно не известны. В смоленском **tj* дает *ч''/ч'*. (*гѣч'и, -иц'/гѣц''и, -иц''*), **dj > -дз' - > -з' -*, *-з* (*мез* «между» *< *medjъ, мезисѣтка < *medjesitъka*), **sj* и **zj*, по-видимому, дают *ш(')* и *ж(')*. В верхневолжском, полоцком и западном диалектах рефлексy в этой позиции равны «общевосточнославянским» (**tj > > ч(')*, **dj > ж(')*, **zj > ж(')*, **sj > ш(')*).

Окончательное установление древней рефлексации **к, *х* (примеры на **г* пока не обнаружены) в позиции II палатализации и **tj, *dj, *sj, *zj* перед различными гласными в кривичских диалектах еще предстоит, однако уже сейчас можно утверждать, что прасистема, предшествовавшая рассмотренным рефлексам, не выводима из постулируемой «общевосточнославянской». В псковском и смоленском диалектах представлены системы рефлексации, близкие к лехитской и принципиально отличающиеся не только от всех других восточнославянских, но и от западно- и южнославянских систем рефлексации. Дело в том, что в этих кривичских и в лехитской системах сочетания дентальных *-j-* перед передними гласными и

велярные в позиции II палатализации дают одинаковые рефлексы, тогда как в других славянских диалектах (наряду с южно- и восточнославянскими также в словацком) эти рефлексы различны (см. табл. 2).

Таблица 2

	Система				
	Псковская	Смоленская	Лехитская	Рус. литер.	Старосл.
*tj	*k'	č'/č'	*c'	č'	š't'
*dj	*ž', >z'	*ž', >z'	*ž'	ž	ž'd'
*sj	?	š	*š'	š	š'
*zj	?	ž	*ž'	ž	ž'
*k ^ě	k'	č'/c'	*c'	c	c'
*x ^ě	x'	š	*š'	s'	s'

В общем виде развитие праславянских сочетаний дентальных с -j- и велярных в позиции трех палатализаций (k^ě — II пал., k^e — I пал., k — III пал.) в пракиричском и далее в отдельных кривичских диалектах можно представить в следующем виде (табл. 3) (см. подробнее [6, с. 128—141, 150—152; 5, с. 62; 16, с. 167—168]).

П у н к т 5. Псковский рефлекс -л- (/к-л-) < *dl, *tl известен давно (блоглиса < *bljudli sę, привегли < *privedli, усегли < *vyszēdli, соустрѣкли < *sqszę řetli и т. п. в старопсковских рукописях (см. [3, с. 101—102]); псков. жагло/жигло 'жало' < *žęTlo/*žiTlo, жерегло 'протока и т. д.' < *žęTlo). Начальное к-л- < *Tl отмечается в псковском, древненовгородском, смоленском и западном диалектах (псков./новгор. клець 'лець' < *Tlěšćjъ, смолен., западн. клѣк 'селечный рассол' < *Tlъкъ или *Tлєкъ, ср. полоцк. лѣк 'id.' и некоторые другие). Кроме того, в псковском и верхневолжском диалектах -к-л- является на месте *Tl в рефлексе *šьtlі, -а (проклá, проклі 'прочтала, прочитали').

В белорусских говорах, возникших на основе западного кривичского диалекта, распространен рефлекс -дл- (реже -л-, -ўл-, -йл-, -в-) < *Tl во многих словах, как правило в суффиксе -*Tlo. Бытующее мнение о польском происхождении этих слов, видимо, неверно ввиду чисто белорусского характера фонетики и акцентуации этих слов, а в некоторых случаях и словообразовательных моделей (ср. материал [17—19]): відлы, відла 'вилы' (*viTla, *viTly); жураво, жераўло (< *žęTlo); крыглы 'бакавыя жэрдкі ў саях-развалках' (< *kriTla); матавідла 'мотовило' (< *motoviTlo); мядліца 'мялка', мядліць 'мять на мялке' (< *męTlo, *męTlica); сукадло, сукайло 'прылада для навівання нітак на цэўкі' (< *sukaTlo), шыдла 'шило' (< *šiTlo), жадла 'жало' (< *žęTlo); трапайло 'прылада, якой трэплюць лен' (< *trępaTlo), мыдла, мыдліць, мыдліца 'мыло; намыливать; таз для стирки' (< *myTlo, *myTliti, *myTlica); садла 'сало' (< *saTlo), радлб, радліць, радлаваць 'плуг-окучник; окучивать' (*orTlo, *orTliti, *orTlovati), цанідло/цанавідла 'рукоятъ пена' (< *сєріTlo/*сєровіTlo), а также ядленец, ядлінец, ядлѣц, ядлбвец/ядлавец, ядлбўнік 'можжевелик' (< *j[ā]Tlъпъсь, *j[ā]Tlіпъсь, *j[ā]Tlъсь, *j[ā]Tlovъсь, *j[ā]Tlovънікъ) — среди этих форм из польского могли быть заимствованы лишь рефлексы *j[ā]Tlovъсь. Рефлексы *сєріTlo / *сєровіTlo и *j[ā]Tl- с сохранением -дл-отмечаются не только в западном, но и в полоцком диалекте. Во всех прочих примерах полоцких, как и верхневолжский (где единственное исключение — -к-л- в рефлексе *šьtlі), *Tl дает л во всех позициях. В интервокале *Tl дает -л- также в древненовгородском (см. [14, с. 121]) и в смоленском (в последнем -дл- известно лишь в волкодлѣк 'вурдалак' < *vьlkoTlакъ с не очень точной локализацией «смол.», (см. [10, вып. 5, с. 41; 9; 4, с. 95—101; 14, с. 119—122; 13, с. 75—80]). Прочие восточнославянские диалекты имеют рефлекс *Tl > l во всех позициях, за исключением некоторых архаичных украинских за-

Праслав.	Пракрив.	Псков.	Смолен.	Верхнев.	Западн., полоцк.
*tj	*t'	*k' $\begin{cases} k^{a, o} \\ k' (> c') \end{cases}$	k ^{a, o} č' > č'/č'	k ^{a, o} č'	k ^{a, o} č'
*dj	*d'	*g' $\begin{cases} g^{a, o} \\ ž' > z' \end{cases}$	γ ^{a, o} ž' > z'	g ^{a, o} ž' > ž'	*g' > ž' > ž'/ž'
*sj	*s'	*x' $\begin{cases} x^{a, o} \\ ? \end{cases}$? ś' > ś'	š'	š'
*zj	*z'	*γ' $\begin{cases} γ^{a, o} \\ ? \end{cases}$	γ ^{a, o} ž' > ž'	ž'	ž'
*k ^ě	*k'	k' (> c')	*č' > č'/č'	*č' > č'	*č' > c'
*x ^ě	*x'	x'	*ś' > ś'	*ś' > s'	*ś' > s'
*k ^e	*č'	*č' > c' ³	*č' > č'/č'	*č' > č'	*č' > č'
*g ^e	*ž'	*ž' > ž'	*ž' > ž'	*ž' > ž'	*ž' > ž'
*x ^e	*š'	*ś' > ś'	*ś' > ś'	*ś' > ś'	*ś' > ś'
*i ¹ k	(?) *c'	c'/k ⁽¹⁾¹	*c' > c'	*c' > c'	*c' > c'
*i ¹ g	(?) *ž'	*ž' > z'	*ž' > z'	*ž' > z'	*ž' > z'
*i ¹ x	(?) *s'	*x' > x'/x ²	*s' > s'	*s' > s'	*s' > s'

Примечания к таблице. 1. В рефлексах типа псков. *отек* 'отец', *мѣсяк* 'месяц', *матѣжа* 'мать, матица (строит.)' и т. п.

2. В псков. и др.-новгор. *вѣх-* 'весь, все' (см. [3, с. 62]).

3. Лишь по морфологическим признакам (в первую очередь по отсутствию перехода *e > o* перед этими согласными) определяется бывшая мягкость *c', z', š'* в псковском, *c', ž', ś'* в смоленском, *c', ž', ś'* в верхневолжском и *č', ž', ś', c'* в полоцком и западном диалектах. В подавляющем большинстве современных говоров мы имеем соответственно твердые *ч, ж, ш; ч, ж, ш; ч, ж, ш; ч, ж, ш; ч, ж, ш; ч, ж, ш, ч*.

карпатских говоров с развитием *-Tль > -x, *-TIV- > -IV- после u, ù, например, в с. Тұрья Пóльяна Перечинского р-на Закарпатской обл.: wjux (*vèdlъ), wela (<*vedlá); bux (<*bòdlъ), bolá (<*bodlá); pl'ux (<*plètlъ), plela (<*pletlá; γux (<*gòdlъ), γulá (<*gòdlá); ml'ux (<*mètlъ), melá (<*metlá). Эти формы на -x несомненно не имеют никакого отношения к сигматическому аористу, что неоднократно предполагалось (см., например, обсуждение этого вопроса в [20])¹. Галицкий украинский диалект, к которому принадлежит и данный закарпатский говор, имеет с кривичскими диалектами специфические акцентологические сходения (см. ниже). После гласных -а-, -о- и -i- *-Tль дает -w: wraw (<*vъrādľъ), wrála (<*vъrāďla); kraw (<*krādľъ), krála (<*krāďla); s'iw (<*sěďľъ), s'íla (<*sěďla), išów (<*šěďľъ), išlá (<*šěďlá); pr'aw (*prěďľъ), pr'ála (<*prěďla); klaw (<*klādľъ), klála (<*klāďla); cw'iw (<*květlъ) cw'ilá (<*květlá); jiw (<*jěďľъ), jíla (<*jěďla); pow'iw (<*powěďľъ), pow'íla (<*pověďla). Сочетание *sTль дает -st: rúst (<*òrstľъ), roslá (<*orstlá).

¹ Расшифровка номеров АРНГ содержится в названных рукописях; она совпадает с нумерацией [11].

Судьба праслав. *Г1 объединяет кривичские системы с западнославянскими, причем рефлексy -кл-, -гл- идентичны севернолехитским.

П у н к т 6. В отличие от всех прочих восточнославянских диалектов, для которых характерны рефлексy праслав. *ě в виде узкого гласного или дифтонга со вторым узким компонентом (укр. *іе*, *е*, *и* по диалектам, южно-белор. *іе*, *е*, вост. и сев.-русс. *е*, *и*, *е*). для всех кривичских (в основе) говоров свойственны рефлексy дифтонга с широким вторым компонентом, типа *іе* или *іа* (в случае монофтонгического рефлекса — обычно широкое *е* после мягкого согласного). Рефлексy «узкого» дифтонга отмечаются только в редких великорусских кривичских говорах на территории верхневолжского и смоленского диалектов (см. [11, карты 40, 41]). В севернопсковских и онежских говорах, с одной стороны, и в «кривичских» белорусских, с другой, отмечаются рефлексy *ě в виде *'а*, *'а*, совершенно не типичные для остальной восточнославянской территории: псков. *яла* (Гдов., [10, вып. 1, с. 167]) 'ела' < *jědla, *кян* 'цен' (Сев.-Зап., п. 177, [21]) < *kěръ, онеж. *рјана* 'репа' < *gěpa и т. д.; в белорусском: «Совпадение *ѣ* и *е* произошло позже обращения последнего перед твердыми согласными сначала в *ѓ*, а потом в *о* с предыдущей мягкостью согласного; вследствие этого, хотя *ѣ* и *е* совпали в одном звуке, но *е*, заместитель *ѣ*, перед твердым согласным не мог обращаться в *ѓ*, а переходил в *а*. Таким образом, тогда как *е* из *е* основного и совпавшего с ним в известных случаях *ѣ* сохранилось только в виде *е* узкого, так как этот звук возможен был лишь перед мягким согласным, *е* из *ѣ* сохранилось и в виде *е* и *а*: *п'ел'и* (п'ѣли), *јел'и* (ѣли), с одной стороны, и *п'а'ў* (п'ѣль) и *ја'ў* (ѣль) — с другой... Таким образом, в белорус. языке *а* всегда предполагает *ѣ*, исключая некоторые случаи, где *а* на месте *е* вызвано особыми обстоятельствами...» [22, с. 202]. Е. Ф. Карский буквой *а* обозначает, видимо, как *іе*. так и *іа* (см. [22, с. 38]). Разумеется, речь в приведенной цитате идет в первую очередь о северных, западных и восточных белорусских говорах, сформировавшихся на кривичской основе, так как в других белорусских ареалах *ě обычно дает (или давал в недавнем прошлом) «узкий» дифтонг *іе* или монофтонг *е*, отличные от *е* < *е, *ь (см. [23, карта 34]).

В рефлексацпи *ě кривичские диалекты близки к лехитским (ср. польск. *іа/іе*); еще одной, более отдаленной зоной «широкого» произношения рефлексов *ě является болгарско-македонский (при этом западноболгарские и восточномакедонские говоры обладают специфической близостью к кривичскому в акцентуации, см. пункты 7 и 8). О рефлексах *ě в древненовгородском см. [5, с. 63, пункт 9] («узкое» произношение *ě свойственно некривичскому компоненту древненовгородского койне).

П у н к т 7. В отличие от южнобелорусских (в основе которых лежат племенные диалекты волянян, дреговичей и древлян), большинства северо-восточных великорусских (с ильменско-словенской основой), южновеликорусских (сформировавшихся на основе племенных диалектов вятичей, северян и славян Верхнего Дона) и некоторых других восточнославянских группировок говоров, в системах, возникших на кривичской основе, хорошо сохраняется окситонеза ед. ч. существительных м. р. так называемой акцентной парадигмы *d* («смешанной»), рефлексация которой является одним из универсальных критериев позднепраславянского диалектного членения (см. [24]). Кроме того, в некоторых псковских и полоцких говорах сохранились непосредственные рефлексy особого характера акцентной кривой парадигмы *d*, характеризовавшейся аномальными «циркумфлексом» или «краткостным ударением» в им.-вин. п. ед. ч. при окситонезе (нафлексионном ударении) в прочих падежных формах, например: псков. заонеж. *бѣрек*, род. п. *бѣрегá*, творит. п. *бѣрегѓм* < *bĕrgъ, *bĕrgá, ср. белор. литер. *бѣраг*, *бѣрага*, словен. *bĕg*; псков., полоцк. *мѓлот*, *мѓлотá* < *mŏltъ, *mŏltá, ср. белор. литер. *мѓлат*, *мѓлата*, словен. *mŏlat*; псков. *крук*, род. п. *кругá*, полоцк. *крух*, *кругá*, верхневолжск. *круг*, *кругá*, заонеж. *крук*, *кругá* < *krŏgъ, *krŏgá, ср. белор. литер. *круг*, *крѓга*, словен. *krŏg* и т. д. Эта черта объединяет кривичские диалекты с ук-

раинскими галицкими говорами, северночакавскими говорами типа Суска и Истрии, западноболгарскими и восточномакедонскими говорами, верхне-лужицким языком, южноштокавскими говорами и, видимо, великопольским диалектом. Документированный материал приводится в [24; 25; 9]. В большинстве указанных диалектов, как и в кривичском, наблюдается также особый вид оттяжки ударения с долгих гласных (см. пункт 8), материально не связанный с сохранением окситонезы в рефлексах акцентной парадигмы *d*.

В различных кривичских системах окситонезу ед. ч. в данной акцентной парадигме сохраняет большее или меньшее число существительных: чаще всего она обнаруживается в исковских и полоцких говорах. Замена окситонированных форм баритонированными объясняется различными причинами («смешанный» характер акцентной кривой, общая тенденция к баритонизации ед. ч., влияние сопредельных и престижных систем с регулярной баритонезой в этих образованиях — см. подробнее в [9]).

П у н к т 8. Одной из важнейших позднепраславянских акцентных изоглосс, делящей восточнославянский диалектный континуум, является распределение первоначально фонетических оттяжек ударения с праславянских долгих гласных и дифтонгов, на которых находилось ударение типа нового акута. Такая оттяжка происходила в презене *i*-глаголов акцентной парадигмы *b*₂ (каузативов и деноминативов), в причастиях на *-ān-* от глаголов акцентной парадигмы *b* с чередующимися основами (типа *česāti: *češijŏ), в локативах на *-ěxъ* от имен акцентной парадигмы *b* (и *d*), в инструменталисе мн. ч. на *-ŷ/-ī* и, по аналогии с ними, на *-mī*, в им. п. мн. ч. на *-ī/-ē* *o*-основ, в род.-местн. п. дв. ч. на *-ī* и в им.-вин. п. мн. ч. ср. р. на *-ā*. В славянских языках представлены 4 типа преобразования первоначальных форм: в 1-м типе говоров ударение с указанных выше суффиксов оттягивается на любые предшествующие гласные (например, в восточноболгарском, в севернословенском, северночакавских говорах типа Нови и Вргада); во 2-м типе оттяжка происходит на краткие предшествующие слоги и не происходит на долгие (см. ниже); в 3-м типе, напротив, оттяжка происходит на долгий предшествующий слог, но в случае краткости этого слога ударение остается на старом месте (к этому типу относятся, среди прочих, украинские волинские говоры, южные и центральные белорусские, в том числе литературный белорусский язык, ильменско-словенские в основе северновеликорусские говоры, южнословенский, словинцкий диалект кашубского языка); в 4-м типе ударение остается на праславянском месте, оттяжки не происходит вовсе (этот тип отражен в первую очередь в восточновеликорусских говорах, в том числе в русском литературном языке) (подробнее см. [24; 25]).

В кривичских по происхождению системах, равно как в галицком диалекте, западноболгарских и восточномакедонских говорах, в итославском обнаруживается 2-й тип оттяжки (характер оттяжки в верхне-лужицком, северночакавском типа Суска и Истрии и великопольском пока не представляется возможным установить) — ср. почти идентичный список диалектов, объединяющихся с кривичским в пункте 7. См. материал рукописей начала XVII в., написанных уроженцем Ржева («ржевитином») Георгием Комыниным [26]²: 1) местн. п. мн. ч. на *-ěxъ* от существительных м. р. а. п. *b* и *d*, краткостные корни (основы): на *кѡниxъ* (Яросл. 306), во *двѡрѣxъ* (Яросл. 142), во *двѡрѣxъ* (Яросл. 158), во *двѡрѣxъ* (Яросл. 1996, № 2286); долготные корни (основы): *ѡ грѣxъ* (Яросл. 65), во *грѣсѣxъ* (Яросл. 82), въ *трѣдѣxъ* (Яросл. 148), на *версѣxъ* (Собр. 347), въ *травницѣxъ* (Собр. 1), во *црѣxъ* (Собр. 16); 2) род.-местн. п. дв. ч., краткостный корень: *нѡгѣ* (Яросл. 1666, Собр. 68), *нѡгоу* (Собр. 2816); долготный корень: *в р коу* (Собр. 64, 646), *ѡ рѣкѣ* (Собр. 343); 3) *ān*-причастие, краткостный корень: *раскѡпанъ* (Яросл. 137), долготный корень: не *ѡнѣсѣнъ* (Яросл. 49) (в данном случае сохранился окситонированный

² Материалы по Яросл. любезно предоставлены автору А. А. Зализняком.

архаизм при общей тенденции русских диалектов к закреплению баритонированного ударения в данных образованиях).

В говоре д. Ягодная Барановичского р-на Брестской обл. (западнокривичском в основе, с сохранением некоторого количества конечнударных форм существительных акцентной парадигмы *d*) подобное распределение отяжек прослеживается в творит. п. мн. ч. на *-mī: а) краткостные корни — *дзвэрмі* (/дзвэрмі), *ночмі* (/начмі), *ко́нми*, *ло́сьми*, *пéчми* (/пячмі) (однако только *касцьмі*); б) долготные корни — *гусьмі*, *людзьмі*, *грудзьмі*, *акуньмі*, *пазурмі*, *зяцьмі*, *звэрмі* (формы даны носительницей говора Г. П. Маркушевой в качестве ответа на вопрос 5 «Краткой акцентологической программы»). Конечнударные формы от краткостных корней появились, видимо, по аналогии с долготными.

Ср. прямо противоположную ситуацию в литературном белорусском языке (материал приводится по [27]), где старое распределение акцентов наиболее хорошо сохранилось в -ап-причастиях: а) краткостные корни — *рас-*, *заплясканы* (ср. *пляшчў*, *плéшчаш*), *за-*, *сасмактаны* (ср. *смакчў*, *смóкчаш*), *трапаны* (ср. *траплó*, *трéплеш*), *захвастаны* (ср. *хващчў*, *хвóщаш*), *статаны* (ср. *танчў*, *тóпчаш*), *часаны* (/чэсаны) (ср. *чашчў*, *чэшаш*); б) долготные корни — *лізаны* (ср. *ліжў*, *ліжащ*), *па-*, *скізаны* (ср. *скажў*, *ска́жащ*), *шчыпаны* (ср. *шчыплó*, *шчы́плеш*), *вяза́ны* (ср. *вяжў*, *вя́жащ*), *за-*, *напісаны* (ср. *пішў*, *пішащ*), *сўканы* (ср. *сучў*, *сўчащ*), *на-*, *знізаны* (ср. *ніжў*, *ніжащ*).

Указанные акцентологические особенности являются наиболее важными свидетельствами древнейшей истории кривичского племенного диалекта, так как они никак не могли возникнуть в период после предполагаемого распада общевосточнославянского языка (например, для возникновения указанных типов отяжек необходимо было сохранение праславянских долгот), тем более что нетривиальное сочетание акцентуационных признаков (сохранение окситонезы в словах акцентной парадигмы *d* и 2-й тип отяжек) несомненно говорит о том, что в древности имелось специфическое родство диалектов-предшественников кривичского, великопольского (?), верхнелужицкого, галицкого, северночакавского и западноболгарского диалектов. Напротив, такие диалекты, как южно-белорусский и ильменско-словенский, в ту пору составляли свое единство, противопоставленное приведенному выше объединению диалектов.

Прочие характерные кривичские черты, такие, как рефлексy *T1, *ё и в особенности сочетаний дентальных с -j- и веларных в позиции II палатализации (перед ё, і) объединяют кривичские диалекты с лехитскими и противопоставляют их всем остальным восточнославянским. Эти черты никоим образом не могут быть расценены как «периферийные архаизмы» восточнославянского континуума, а, напротив, должны считаться пережитками того состояния, когда кривичский племенной диалект, еще не войдя в близкий контакт с другими будущими восточнославянскими племенными диалектами и не затронутый общевосточнославянскими конвергентными процессами, представлял собой особый позднепраславянский диалект, входивший вместе с северными западнославянскими диалектами в единый лингвогеографический ареал.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горшкова К. В. Историческая диалектология русского языка. М., 1972.
2. Аванесов Р. И., Очерки русской диалектологии. М., 1949, с. 34—38.
3. Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.
4. Зализняк А. А. Наблюдения над берестяными грамотами.— В кн.: История русского языка в древнейший период. М., 1984.
5. Зализняк А. А. Древненовгородское койне.— В кн.: Балто-славянские исследования 1986. М., 1988.
6. Николаев С. Л. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи.— В кн.: Балто-славянские исследования 1986. М., 1988.
7. Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970.
8. Седов В. В. Восточные славяне в VI—XIII вв. М., 1972.
9. Николаев С. Л. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи (окончание).— В кн.: Балто-славянские исследования 1987. М., 1989.

10. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1—6. Л., 1967—1984.
11. Диалектологический атлас русского языка: Центр европейской части СССР. Фонетика. Вып. 1. М., 1986.
12. *Глушкина С. М.* О второй палатализации заднеязычных согласных в русском языке (на материале северо-западных говоров).— В кн.: Псковские говоры. Вып. II. Псков, 1968.¹
13. *Зализняк А. А.* К исторической фонетике древненовгородского диалекта.— В кн.: Балто-славянские исследования 1981. М., 1982.
14. *Зализняк А. А.* Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения.— В кн.: *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте. М., 1986.
15. Словарь русских народных говоров. Вып. 1—23. Л., 1965—1988.
16. *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка.— В кн.: Славянское языкознание. X Международной съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.
17. Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Т. 1—5. Мінск, 1979—1986.
18. *Сцяшкoviч Т. Ф.* Слоўнік Гродзенскай вобласці. Мінск, 1983.
19. *Сцяшкoviч Т. Ф.* Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці. Мінск, 1972.
20. *Панькевич І.* Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей. Вып. 1. Прага, 1938.
21. Материалы атласов русских говоров центральных областей к северу (С.) и к северо-западу (С.-З.) от Москвы. Рукописи, хранящиеся в Секторе диалектологии и лингвгеографии Ин-та русского языка АН СССР.
22. *Карский Е. Ф.* Белорусы. Язык белорусского народа. Вып. 1. М., 1955.
23. Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963.
24. *Булатова Р. В., Дыбо В. А., Николаев С. Л.* Проблемы акцентологических диалектизмов в праславянском.— В кн.: Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.
25. *Дыбо В. А., Николаев С. Л.* К проблеме раннеславянского диалектного членения.— В кн.: Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Ч. 2. М., 1989.
26. Рукописи, написанные Георгием Евсевиевичем Комыниным: Собр.— «Собрание», Гос. б-ка им. В. И. Ленина, ф. 247 (Рогожское), № 681, 1604 г.; Яросл.— Псалтирь, Гос. исторический муз., Барсов, № 95, 1612 г.
27. Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэзія. Акцэнтацыя. Словазмяненне. Мінск, 1987.



ЯКОВЛЕВ А. В.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НОВОГРЕЧЕСКОГО КОНСОНАНТИЗМА¹

Предмет настоящего исследования — система согласных фонем общегреческого языка. Эта тема мало изучена. Нам известно только два теоретических труда, посвященных новогреческому консонантизму в целом² — исследования А. Мирамбеля [2] и Д. Баколаса [3]. Мы опираемся на данные этих двух работ и результаты собственных наблюдений.

Ниже приводятся таблицы общегреческого консонантизма, предлагаемые А. Мирамбелем, Д. Баколасом и нами.

Как видно из таблиц, расхождения касаются следующих вопросов:

1. Выделять ли локальный ряд межзубных?
2. Выделять ли корреляцию «преназализованные — непреназализованные», или «звонкие — глухие», или обе вместе?
3. Вводить ли в описание две морфемы $\{n_1\}$ и $\{n_2\}$, соответствующие фонеме /n/?

4. Как определить статус палатальных [ɲ], [ɲ̃], [^hɲ], [ɲ̃]³, [λ]?

1. По нашим наблюдениям, нерезкие фрикативные переднеязычные согласные, обычно описываемые как межзубные, чаще (особенно у женщин) реализуются как дентальные — в том же месте, что и нерезкий взрывной апикальный /t/. В то же время шипяще-свистящий /s/ и свистящий /z/ — нижнеальвеолярные. Кроме того, в димотике в некоторых позициях нейтрализуется противопоставление /t/ — /θ/ и нигде не нейтрализуется противопоставление /t/ — /s/ (если не считать позиции конца слова, где вообще из всех согласных возможны только /s/ и /n/). Поэтому нам представляется целесообразным помещать /θ/ и /d/ в один локальный ряд с /t/, а /s/ и /z/ — с переднеязычными верхнеальвеолярными шипяще-свистящими аффрикатами /s' и /z'.

2. Второй из названных вопросов, пожалуй, самый сложный в теории новогреческого консонантизма. В среднегреческом одиночный глухой взрывной или глухая аффриката озвончились после носового. (Бывшие звонкие взрывные в среднегреческом фрикативизировались.) Затем сочетания «носовой + взрывной / аффриката» превратились в преназализованные звонкие согласные, которые ныне свободно варьируют в небрежной речи с чистыми звонкими. Кроме того, чистые звонкие взрывные и аффриката встречаются в начале слова в заимствованиях, в словах, проникших из детского языка, и в нескольких исконно греческих глаголах, чье начальное /b/ по неясным причинам не фрикативизировалось, например, в *ελπίω* /'epo/ «приходить». В некоторых заимствованиях и словах,

Яковлев Андрей Викторович — преподаватель Высших курсов иностранных языков Министерства иностранных дел СССР.

¹ В основу работы положен доклад, сделанный на I Всесоюзной школе молодых славистов и балканистов в 1988 г.

² Глухой консонантизм различных новогреческих диалектов подробно рассмотрен в ряде работ О. С. Широкова, в частности в [1].

³ По техническим причинам для обозначения среднеязычного носового согласного в транскрипции используется знак ɲ.

Таблица 1

Новогреческий консонантизм с точки зрения А. Мирамбеля

Классы по месту образования	Корреляция способа образования							
	Корреляция звонкости-глухости	Корреляция назальности			Взрывные		Аффрикаты	
		звонкие	звонкие	глухие	звонкие	глухие	звонкие	глухие
Лабialsные	Билabialsные		m		b	p		
	Лабiodентальные			v	f			
Дентальные	Межзубные			d	ɸ			
	Зубноязычные		n	z	s	d	t	ɖ ʈ
Гуттуральные (передней и задней артикуляции)			ŋ (g и y)	x (x ¹ и x ²)	g	k		
Плавные	Боковые		l					
	Дрожащие		r					

Таблица 2

Новогреческий консонантизм с точки зрения Д. Баколаса

	Шумные			Сонорные		
	Смычные		Щелевые	Сонорные		
	Взрывные	Аффрикаты		Носовые	Дрожащий	Боковые
Губные	p m ^b		f v	m		
Переднеязычные	t n ^d	c n ^ʒ	o δ s z	n	r	l
Среднеязычные	h n ^ɸ		ç j	ɲ		λ
Заднеязычные	k n ^g		x γ			

проникших из детского языка, даже в середине слова есть чистые взрывные, не варьирующие с преназализованными: *παπα*/ba'bas/ «папа (отец)»; их преназализация в этих словах, а также в начале слова, является характерной отличительной чертой произношения греков-киприотов. Таким образом, противопоставление чистых звонких взрывных и чистой звонкой аффрикаты преназализованным теоретически возможно, но практически минимальных пар слов не обнаружено. Самая контрастная из обнаруженных автором пар — *παπα*/ba'bas/ «папа (отец)» — *λαμπα*/lam'bas/, /la'mbas/ «лампа».

Описание новогреческого копсонантизма, предлагаемое автором статьи

	Сонорные			Шумные				
	Дро- жжацие	Апрокс- симан- ты	Носо- вые	Смычные			Фрикативные	
				Звонкие		Глу- хие	Звон- кие	Глу- хие
				Преназали- зованные	Непреназали- зованные			
Губные			m	m _b	(b)	p	v	f
Зубные				n _d	(d)	t	ð	θ
Альвеолярные	ɾ	l	n*	n _ɟ **	(ʒ)	c	z	s
Палатальные		λ	ɲ	ʎ _h	(h)	ħ	j	(ç)
Велярные				ŋ _g	(g)	k	ɣ	x

* Две морфемы {n₁} и {n₂}.** n_ɟ, ʒ и c — аффрикаты.

В скобках даны символы тех сегментов, фонемный статус которых нуждается в тщательной аргументации.

Но даже если мы, несколько «идеализируя» новогреческий язык, исключим из рассмотрения слова с неначальными чистыми звонкими взрывными и преназализованной аффрикатой ввиду их малочисленности (что, конечно, не совсем корректно) и тем самым сделаем рассматриваемое противопоставление ненужным в реализационной модели, оно все равно будет работать в модели распознавания, так как в потоке речи чистый звонкий взрывной — это показатель начала слова: καί ἑδινόμε [he'dinome] «и одеваюсь» — с почти стопроцентной вероятностью в реальном новогреческом языке и со стопроцентной — в «идеализированном». Разумеется, не всякое начало слова отмечено этим показателем, но почти всякое появление такого звука означает начало слова.

В орфографии чистые звонкие взрывные обозначаются так же, как преназализованные; чистая звонкая и преназализованная аффрикаты обозначаются по-разному.

Нам известен, кроме новогреческого, только один язык — дивехи (мальдивский), — где преназализованные согласные противопоставлены как чистым звонким согласным, так и их сочетаниям с предшествующим носовым [4, р. 203—204]. Как и в новогреческом, в дивехи преназализованные согласные на письме не отличаются от бифонемных сочетаний, и это, как отмечает С. М. В. де Сильва [4, р. 205], единственный случай фонологической недостаточности мальдивского письма «габули-тана».

Интересно, что глухие взрывные в новогреческом языке обычно слабые, а звонкие взрывные — сильные. По нашим наблюдениям, в языках мира обычно бывает наоборот. Новогреческие глухие могут в быстрой небрежной речи произноситься как полувзвонкие (особенно у мужчин), а при логическом подчеркивании слова они становятся сильными. Они не озвончаются перед звонкими фрикативными: εκδίδουν [ek'diðun] «выдают» (в приведенном примере, напротив, первое [ð] приближается к [l], вокализуясь как в датском; таким образом, уместно говорить о контактной аффонематической прогрессивной диссимиляции).

3. В истории греческого языка произошло озвончение взрывных и аффрикаты после /n/ — как внутри слова, так и на стыках слов. Но этого изменения в современном языке не наблюдается в случае выпадения гласного между /n/ и глухим согласным. Внутри слова это имеет место в неполном стиле произношения, на стыках же слов мы сталкиваемся с этим в формах 3 л. мн. ч. глаголов действительного залога. Форма на /ne/ появляется в Новом Завете (I в. н. э.) и становится нормой в среднегреческом.

Ныне конечное /e/ в этих окончаниях снова исчезает в димотике (факультативно) и в кафаревусе (обязательно, так как его не было в древнегреческом). Но и в кафаревусе (несомненно, под влиянием димотики) это /n/ не сандхирует. Таким образом, рассматривая, например, отдельно неполный стиль произношения или отдельно кафаревусу, мы будем вынуждены ввести две морфемы, соответствующие фонеме /n/: {n₁}, которое сандхирует со следующим глухим взрывным или глухой аффрикатой (см. пункт 2), факультативно исчезает перед следующим фрикативным и превращается в /m/ перед следующим губным взрывным согласным — τῶν ποῦλιῶν [ˈtombuˈlon] «птиц» (род. п. мн. ч.), — и {n₂}, которое никогда не исчезает, ни во что не превращается и после которого глухие взрывные и глухая аффриката остаются глухими: ἐχούον πορτοκάλια [ˈexunportoˈkaˌla] «у них есть апельсины». При автоматическом распознавании слитной речи сочетания «[n] + [t]», «[n] + негоморганный взрывной» целесообразно использовать для сегментации как надежный признак границы словоформ.

Если указанных двух морфем не различать, то для перехода от морфологического представления к фонетическому необходимо будет ввести дополнительную процедуру: проверку на возможность вставки гласного в полном стиле произношения в димотике.

4. Оппозиции k — ħ, g — ħ, ²g — ²ħ, x — ç, γ — j, n — ɲ, l — λ, если их вообще признавать, бесспорно, нейтрализуются перед гласным /i/; k — ħ, g — ħ, ²g⁴ — ²ħ, x — ç, γ — j — также перед /e/. При этом шумные согласные всегда реализуются как палатальные; что же касается сонантов, то, хотя накопленный нами объем наблюдений представляется недостаточным для окончательных выводов, все же следует отметить тенденцию к альвеолярным реализациям у женщин и палатальным — у мужчин.

Сочетания ħi, ħi, ²ħi, çi, ji, ɲi (ni), li (li) в безударной превокальной позиции даже в конце слова, а /ɲi/ также и в конце дыхательной группы, особенно у мужчин, могут произноситься соответственно как ħ, ħ, ²ħ, ç, j, ɲ, λ. Для шумных этот переход возможен только перед /a/, /o/, /u/, для сонорных также перед /e/. Внутри слова переходы ni в ɲi и li в λi практически уже завершились, колеблются только отдельные слова. Таким образом, если принять, что две фонемы не могут реализовываться одновременно, что, вообще говоря, не всегда признается (см., например, [5; 6], но в некоторых случаях принимается бескомпромиссно, например, [7]), то мы должны будем непременно выделить локальный ряд палатальных согласных фонем. В указанном сочинении А. Мирамбеля [2] в 1959 г. исчезновения палатализующего гласного после шумных согласных не отмечено.

[ɲ], образовавшееся в незаударных слогах из [i] после [m] (μῆ [mɲa] «одна», но πανεπιστήμιο [-mɲo] «университет»), следует считать аллофоном фонемы /j/, если не вводить в описание фонему /ɲ/; в противном случае в синхронном описании естественнее считать, что этот звук реализует фонему /ɲ/.

Помимо вопросов, относящихся к расхождениям между моделями описания повогреческого консонантизма, коснемся также некоторых других проблем, относящихся к диахронии.

Как показано в таблице 4, в древнегреческом языке было 19 согласных фонем, в том числе 4 с ограниченной самостоятельностью (возможно даже тринадцатифонемное описание, от принятия которого автора удерживает только осторожность по отношению к крайним проявлениям нетрадиционности), и 20 гласных — 11 монофтонгов и 9 дифтонгов; это яркий пример вокалической системы фонем⁵. В современном греческом языке 5 гласных

⁴ По техническим причинам преназализация заднеязычного согласного показана тем же знаком, что и преназализация среднеязычного.

⁵ Интересно, что во многих современных вокалических языках индоевропейской семьи, например, в германских, имеется, как и в древнегреческом, гортанная смычка,

фонем (дифтонги не противопоставлены бифонемным сочетаниям), согласных же по любому из предложенных описаний значительно больше. Таким образом, греческая система фонем в диахронно-типологическом отношении сходна со славянскими: на протяжении последних тысячелетий она консонантизируется. При этом отступают на второй план фонационные признаки, а на первый выходят признаки места образования, активизируются также признаки, связанные с коартикуляцией. Как и в русском языке, консонантизация происходит и сейчас на наших глазах.

Фонемы древнегреческого языка

Таблица 4

Согласные		Гласные	
I описание	II описание ^a	Монофонги	Дифтонги
k (k:) kh g	k g	a ā i ī u ū	ai āi au
t (t:) th d n	t d n	e ē o ō ū	oi ōi
p (p:) ph b m	p b m		ei ēi eu
r l	r l		yi
s z (h)	s z h		

^a k = k + k и т. д., kh = k + h и т. д., pt th (tθ) = p + t + h (тθ запрещено) и т. д. Вообще в древнегреческом действовал закон «не более одного придыхания на одну морфологическую словоформу» (в смысле [10], *mutatis mutandis*), сформулированный в свое время как закон переноса придыхания (закон Бартоломе, см. например [11]), так что древнегреческое придыхание можно рассматривать в качестве признака кульминативно-просодического, т. е. и сегментного и супraseгментного одновременно, как в кечуа [12; 13; 14]. Это еще более изменяет соотношение консонантизма и вокализма в пользу последнего. Что касается сегмента [ŋ], то он фонологически не самостоятелен.

Мы стремились показать, что в новогреческом языке происходят фонетические процессы, которые вынуждают исследователя, моделирующего систему фонем, учитывать различие стилей произношения и в соответствии с этим строить *разные* модели. По-видимому, еще недавно было бы неправомерно считать палатальные взрывные самостоятельными фонемами; по-видимому, в скором будущем станет возможным безоговорочно считать их самостоятельными фонемами. Но тогда в новогреческой фонетике наверняка появится какое-нибудь явление, которое вновь вынудит исследователя строить по крайней мере две модели и указывать тенденцию перехода от одной к другой.

Нам представляется, что в действительности в любой момент истории любого живого естественного языка существуют разные системы фонем и правила выведения одной из другой, не всегда обратимые. Более того, в любом естественном живом языке в любой момент его истории никакой иерархической уровень не может быть адекватно отражен одной статической моделью (что напоминает принцип Паули [8, колонка 1349] из области атомной физики), но по крайней мере двумя с указанием их распределения в зависимости от значений признаков других уровней, включая стилистический, из чего в принципе выводима тенденция перехода от одной из них к другой.

Если противоположности «язык (la langue)» и «речь (la parole)» смыкаются в понятии le langage (см. III главу Введения [9]), то не дополняется ли и дихотомия «синхроническое — диахроническое» третьим членом, который можно было бы назвать «производной» примерно в том значении слова, в котором оно употребляется в теории функций?

Что касается прикладного аспекта работы, то в ней удалось показать, какие звуки новогреческого языка можно безусловно использовать в целях автоматической сегментации звучащей слитной речи на слова.

причем в датском она используется не только для словоразграничения, но и для словоразличения. В вокалическом французском языке можно подобрать такие пары слов, которые в некоторых сочетаниях будут различаться в произношении *только* гортанной смычкой (р реализующей так называемое h aspiré) при одинаковом месте межсловной границы.

Автор выражает В. Г. Соколюку, у которого он учился новогреческому на филологическом факультете МГУ, признательность за помощь в работе над статьей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Широков О. С. Методика фонологического описания в диахронии. Минск, 1967.
2. Mirambel A. La langue grecque moderne. Description et analyse. Paris, 1958.
3. Баколас Д. Консонантизм новогреческого языка. Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Киев, 1973.
4. De Silva M. W. S. The Phonological Efficiency of the Maldivian Writing System. — *Anthropological Linguistics*, v. 11, 1969, № 7.
5. Златоустова Л. В. Звуковые типы русской речи. — В кн.: Проблемы теоретической и прикладной лингвистики. М., 1977, с. 158—159.
6. Златоустова Л. В. Фонетические единицы русской речи. М., 1981, с. 40—41.
7. Либерман С. А. Фонема или различительный признак? — В сб.: Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971.
8. Малая советская энциклопедия. Т. 6. М., 1959.
9. Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977.
10. Зализняк А. А. Грамматический очерк санскрита. — В кн.: Кочергина В. А. Санскритско-русский словарь. М., 1978, § 24, с. 799.
11. Кочергина В. А. Санскрит и современное языкознание. — *Вестник Моск. ун-та, Сер. Востоковедение*, 1986, № 4.
12. Царенко Е. И. О ларингализации в языке кечуа. — *Вопросы языкознания*, 1972, № 1.
13. Царенко Е. И. К функциональной характеристике ларингальности в языке кечуа. — *Вопросы языкознания*, 1973, № 3.
14. Царенко Е. И. Некоторые фонетические особенности языка кечуа. — *Вопросы языкознания*, 1976, № 4.



БОГАЕВА Н. А., НОВОЛАШИН Ю. С.

ЗАПАДНЫЕ ПОЛИТОЛОГИ О РАЗВИТИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА

В 1988 г. франкфуртское издательство «Петер Ланг» выпустило сборник «Несовершенный блок. Советский Союз и Центральная и Восточная Европа между лояльностью и противоречием» [1]. Его авторы — западногерманские политологи из Свободного университета (Западный Берлин). Этот сборник — первый том новой книжной серии «Берлинские труды о политике и обществе при социализме и коммунизме», издание которой можно только приветствовать, и он не прошел незамеченным в СССР. Тем более, что обсуждаемый западными коллегами и оппонентами стержневой вопрос о путях и границах развития сотрудничества стран социалистического содружества и для советских обществоведов один из центральных.

При написании этого сборника перед авторами, как отмечается в предисловии, встала сложная проблема: дать общую характеристику вопроса в статьях, ориентированных на различные области исследования. Для этого были избраны два пути. С одной стороны, редколлегия попыталась статьи общего характера, касающиеся всего социалистического содружества, скомбинировать и привести в соответствие со статьями, посвященными анализу отдельных стран. С другой стороны, авторы старались решить названную проблему, обращаясь к тематически одинаковым аспектам жизни в социалистическом содружестве. Отмечая, что «данная публикация является выражением позиций и результатом размышлений всех авторов», редколлегия вместе с тем подчеркивает, что эту работу нельзя считать демонстрацией «однородных оценочных критериев». Отдельные авторы представляют не только различные области исследовательской деятельности. Их различает методический подход, а также интерпретация и оценка исторических данных (S. 11—12).

Сборник открывается статьей профессора факультета политологии западноберлинского Свободного университета Х. Хорн «Определение этапов как исходный пункт и дилемма сравнения коммунистических государств Европы». Обращаясь к периодизации истории человеческого общества, автор особое внимание уделяет социализму. Она считает, что имеющиеся в обществоведении социалистических стран периодизации скрывают «массу неясностей и проблем». Трудно понять учение о периодизации, которое закрепляет постоянными понятиями специфические стадии развития. Эпоха, период, фаза, этап могут применяться для характеристики одинаковых отрезков развития. К тому же последнее слово здесь всегда принадлежит не научным выводам, а политическим оценкам. В компетенции любого коммунистического партийного руководства опре-

Богаетва Наталья Андреевна — научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

Новолашин Юрий Степанович — д-р философ. наук, зам. директора Института славяноведения и балканистики АН СССР.

делять по своему усмотрению те или иные периоды развития духовной и всей общественной жизни данной страны. Это означает, что определение таких цезур, даже формаций, также может быть исправлено задним числом, следовательно, заключает в себе порок произвольности. В качестве примера Хорн приводит многочисленные исправления в периодизации истории СССР, а также ГДР (см. S. 14—15).

Обращаясь к вопросу о возможностях внутрисистемного сравнения, предлагаемых периодизациями социалистического развития, пишет Хорн, наталкиваясь на отсутствие рационально сравнимых критериев, которые различны в разных странах и служат актуальным в данное время политическим потребностям. Они формулируются не на основе точных, эмпирически доступных и действительно свершившихся изменений, а являются как бы наперед заданными и потому подвержены нередким исправлениям. Эти исправления представляют скорее правило, чем исключение. Существующие в мировой политологии характеристики и критерии не имеют здесь почти никакого значения. Даже такой основополагающий и прямо контролируемый критерий, как структура собственности, уступает политической выгоде. Так, Польша считается социалистическим государством, хотя там 75% пахотных площадей находится в руках крестьян-единоличников, а также далеко не полностью ликвидирована эксплуатация человека человеком. Теоретически по этим показателям данная страна должна быть в какой-то переходной, а никак не в социалистической фазе. Одним словом, заключает Х. Хорн, определение этапов в марксистско-ленинском обществоведении обосновывается предполагаемым приближением к коммунизму, а не реальным развитием той или иной страны. Поэтому почти полностью остаются без внимания эмпирически контролируемые и сравнимые социально-экономические изменения. Однако именно эти изменения отражают в высшей степени различные общественные и экономические стадии жизнедеятельности отдельных государств. А потому они годятся для того, чтобы разрушить миф об однообразии стран реального социализма и социалистическом превосходстве СССР, а также разоблачить фиксацию этапов как идеологически мотивированную теоретическую конструкцию, которая по мере политической надобности может подвергаться исправлению и модификациям (S. 8, 22; 30—31).

В этих нелестных для нашего обществоведения словах Хорн много справедливого. Идеологическая заданность — одна из очевидных характеристик советской науки о социализме, которая не одно десятилетие прозябала в роли покорной служанки политических интересов власть предержащих. Именно партийное начальство в лице Сталина, Хрущева, Брежнева и других изрекало суждения о создании в СССР то «основ социализма», то его построении «в основном», то оспрашивало советский народ выводом о вступлении в «период развернутого строительства коммунизма», то ограничивало указанный период возведением «материально-технической базы коммунизма»; или, отодвигая коммунистическую утопию, утверждало в сознании ко всему уже привыкших соотечественников «этап развитого социализма», то, посчитав, видимо, и этот этап утопией, начинало толковать не о развитом, а лишь «развивающемся социализме» и т. п. Общественные же лишь «брали под козырек» и приступали к обоснованию, разъяснению и популяризации очередного «величайшего», на худой конец — «выдающегося» вклада в марксистско-ленинскую теорию. Какая уж тут объективная периодизация социалистического развития... Быть может, только сейчас эта проблема начинает осознаваться во всей серьезности, и делаются первые трезвые попытки понять, что же мы на самом деле построили и какие этапы и периоды прошагали и превозмогли.

Но вернемся к рецензируемому сборнику. В следующей статье «Социальная мобильность в Восточной Европе. К проблеме интеграции социалистических обществ», написанной сотрудницей научно-исследовательского Института Восточной Европы при Свободном университете К. Менике-Дёндёши, рассматривается социальная структура стран социалистического содружества. Автора занимает вопрос, устранены ли привилегии

в странах Восточной Европы путем ликвидации частной собственности на средства производства и последовавшей демократизации образования и тем самым достигнуто ли большее социальное равенство, чем в других обществах. Она использует новейшие исследования социальной мобильности, имеющиеся в этих странах, в частности, социального состава учащихся высшей школы, а также исследования жизненного пути работающей молодежи. На основании большого фактического материала Меннике-Дендёши делает вывод, что, «хотя сначала высшая школа рассматривалась как гомогенизирующая инстанция для социальной структуры, анализ доказал, что жизненный путь студентов определяется в первую очередь социально-классовой принадлежностью родителей... Собственным успехам, как и достигнутой самим студентом социальной позиции до учебы в вузе, принадлежит лишь третьестепенное значение» (S. 60).

За этим изображением социальных и социально-структурных проблем в Советском Союзе и других странах социалистического содружества следует статья сотрудника того же института Х.-Э. Граматцки «Общие и региональные экономические отношения и конфликты между СССР и восточноевропейскими государствами — членами СЭВ». На фоне исторического развития сотрудничества Советского Союза с европейскими странами социалистического содружества, достигнутого уровня кооперации и планов на будущее он исследует возможности реформы экономической структуры и механизмов функционирования Совета Экономической Взаимопомощи. При этом речь идет о реформах внешней торговли, экономического руководства и планирования, а также структуры отдельных секторов народного хозяйства, о необходимости существенного сдвига в использовании кооперации в исследованиях и т. д. В статье рассматриваются преиятия, стоящие на пути подобных реформ, и противоречия между потребностями развития СССР и других государств социалистического содружества (см. S. 9, 75—76).

Грамматцки отмечает, что в настоящее время возникли значительно более благоприятные предпосылки для реформ в странах — членах СЭВ, чем в начале 80-х годов. Однако многочисленные эксперты в западном «остфоршунге» по СЭВ и внешней торговле затрудняются убедительно ответить на вопрос, какой путь изберет СЭВ в целом и какими будут отношения между СССР и отдельными восточноевропейскими странами в 90-е годы. «Само собой разумеется, — подчеркивает он, — что реформа СЭВ в большей степени зависит от экономических реформ в СССР. Если в отношении реформирования советской системы будет сделано немного, то окажется невозможным что-то серьезно изменить и в „механизме“ СЭВ» (S. 98). Резонным выглядит также и его суждение о том, что «согласие между восточноевропейскими странами — членами СЭВ относительно их взаимной внешнеторговой политики в настоящее время несомненно большее, чем по характеру и направленности реформ внутренних экономических механизмов этих стран» (S. 98).

К этим трем статьям, посвященным преимущественно проблемам всего социалистического содружества и касающимся процессов в политико-теоретической, социально-структурной и экономической областях, примыкают исследования по тем или иным проблемам отдельных стран или их сравнения.

Статья профессора факультета политологии Свободного университета Г. Й. Глеснера «Политическая культура и политическая система. Конфликт и проблемы в политической системе ГДР» знакомит с особенностями политической системы ГДР, которая наряду с ЧССР является наиболее развитым государством СЭВ. Обе системы принимают более четкие контуры, и притом прежде всего в связи с модернизацией своей нуждающейся в улучшении и в основных чертах перенятой от Советского Союза системы, с ее приспособлением к национальным экономическим и социальным реальностям. При этом исследование Глеснера прослеживает ряд обстоятельств, способных обеспечить относительную стабильность устройства ГДР, особенно специфический инструментарий узаконения и формализации, а также конституционного закрепления процессов приня-

тия решений, которые все более активно влияют на структуру и механизмы функционирования общества ГДР (см. S. 9, 113—114).

Автор статьи констатирует, что «в последние годы западные специалисты по ГДР и сравнительному исследованию коммунизма весьма скептически настроены по отношению к собственным возможностям познания и, прежде всего, к возможности делать прогнозы» (S. 103). Самокритично отмечается, что «несмотря на многолетнее изучение отдельных стран социализма и их общественных систем, полученные знания недостаточны. Возрастающие разнообразие и дифференциация социалистических государств все более затрудняют ответ на вопрос, что же типично в социализме советского происхождения. Подобному развитию соответствуют фрагментарность и разнообразие теоретических концепций исследования ГДР и коммунизма» (S. 103).

В целом, подытоживает Глеснер, картина остается противоречивой: налицо гипостазирование государства, чьи реальные возможности действия путем возрастающей бюрократизации, организационных реформ и прежде всего процесса легитимации скорее расширяются, чем уменьшаются. Однако одновременно с этим происходят изменения, последствия которых еще не совсем ясны. Кажется, процесс легитимации по крайней мере предоставит шанс для корпоративной открытости системы и расширит возможности индивидуума по отношению к всевластию государства. В какой мере эти корпоративные тенденции модифицируют руководящую роль партии и тем самым расширят поле деятельности граждан и общественных учреждений и организаций, после событий в Польше и в Советском Союзе сказать еще труднее, чем прежде (S. 116).

В эти осторожные прогнозы западноберлинского политолога жизнь внесла сейчас весьма существенные коррективы! Население ГДР осенью 1989 г. пришло в такое движение, так взрывоподобно возросла политическая активность всего народа, что мгновенно рухнул не только сталинистский режим Э. Хонеккера, но и вообще СЕПГ решительно потеснили у кормила власти. Не одному Глеснеру, но и многим другим обществоведам, в том числе большинству из них в Советском Союзе, казалась «непробиваемой» лояльность властям восточногерманского населения и потому неизблемой командная партийно-государственная система СЕПГ. Выходит, ошибались и мы, и западные наши коллеги и оппоненты тоже не предполагали такого стремительного, поистине революционного развития событий в ГДР.

Можно сказать, что выглядит несколько устаревшим и содержание статьи «Самоуправление, исполнительная власть и технократия при социализме», подготовленной сотрудником Института политических наук Венского университета А. Прадетто. Он исследует право и практику управления в Польше в 70-е годы и делает вывод, что власти, которые проигнорировали необходимость реформы политической и экономической системы и попытались избежать ее путем реформы управления, рационализации административной надстройки, в конечном итоге по существу содействовали кризису 1980—1981 гг. (см. S. 9, 135—136).

Следующая статья «Оправдало ли себя крупное сельскохозяйственное предприятие? Сравнение аграрного развития и аграрных проблем в Советском Союзе и ГДР» принадлежит Ш. Мерле, сотруднику Центрального института социальных исследований при Свободном университете Западного Берлина. Автор отмечает, что сельское хозяйство в странах социализма имеет гораздо большее значение, чем в западных индустриальных государствах. «Это определяют не только экономические факторы, такие, как большая доля занятого в нем населения, инвестиций, общественного продукта, но еще сильнее политические и идеологические соображения. Крупное предприятие в сельском хозяйстве и связанное с ним уравнивание условий жизни в городе и деревне рассматривается как важный признак преимуществ социализма» (S. 139). В статье как раз и исследуется, оправдало ли крупное предприятие возложенные на него ожидания. При этом ставится вопрос: насколько констатируемые сегодня проблемы социалистического аграрного производства следует объяснять наличием

крупных предприятий? Чтобы исключить мнение, будто основу оценки составляют специфические условия одного государства, рассматриваются две страны, различные и по уровню промышленного развития, и по географическому положению, и по жизненному уровню населения. Учитывая советские возможности влияния и его границы, ставится также вопрос: могут ли формально очень похожие стадии развития в социалистических государствах (коллективизация и с конца 60-х годов переход к аграрно-промышленным комплексам) расцениваться как навязывание советской системы?

Отвечая на эти вопросы, автор показывает, что, хотя руководство обеих стран — из идеологических соображений — способствует крупному производству, однако его облик в рассматриваемых странах заметно различается. Тем самым разбивается распространенное представление, будто при создании своего, определяемого как социалистическое, сельского хозяйства восточноевропейские страны были полностью подчинены однородным постулатам советского характера. Несмотря на одинаковые целевые установки, национальные условия привели к весьма различным результатам (S. 10).

Статья проф. В. Кнобельсдорфа «Видимость и действительность. Разделение политической реальности в социалистической Польше» повествует о трижды расколотой реальности в странах социализма — официальной, полуофициальной и неофициальной. Этот раскол отражает противоречия между всеобъемлющими притязаниями официальных властей и подчиненным им обществом. Таким образом выявляется существенный источник полной противоречий внутренней неустойчивости стран социалистического содружества.

Автор пишет, что после Октябрьской революции метод небезызвестного князя Потемкина был возведен в принцип коммунистической политики. Он состоит в «пропаганде успехов», которая во всех социалистических странах владеет средствами массовой информации и по сути является ни чем иным, как возведением потемкинских деревень. Так общественная действительность во всех областях жизни представляется двойко: в виде опубликованной официальной интерпретации действительности и в виде реальных данных — как видимость и действительность. Их диалектика наиболее четко выражается в области политической коммуникации (см. S. 171—173).

Опыт 70-летнего существования тоталитарных социалистических систем советского образца учит, что системы эти являются «двойными обществами». Разделение социалистической действительности на два уровня — официальный и неофициальный — открывает взору реальность, существующую под поверхностью официальной культурной, политической и экономической жизни. Между тем у такой дихотомии есть недостаток: она слишком мало внимания уделяет переходным состояниям, тому, что находится между двумя крайностями, то есть совокупности общественной жизни. Крайности не изолированы друг от друга, а взаимосвязаны. Вместе с пограничными зонами они образуют непрерывность. Зная это, можно направить наше внимание на полный объем общественной реальности: одновременно на крайности и пограничные зоны. То, что здесь характеризуется как пограничные зоны, является не имеющей, конечно, четких очертаний составной частью непрерывности. То, что сегодня считается неофициальным, завтра может стать полуофициальным или даже официальным. Разрешенное становится недозволенным или же наоборот.

В подтверждение одной из важных для автора мысли в статье приводится следующее высказывание католического публициста Ш. Кисилевского: «Если государство занимается всем, то люди стараются не заниматься ничем, чтобы не мешать государству». Хотя система пытается тотально охватывать население, но это не удается, люди находят возможности повернуться спиной к системе и создать для себя ниши, в которых возможна содержательная, многослойная и подлинная жизнь. Произошло нечто, заключает В. Кнобельсдорф, о чем не мог и мечтать князь Потемкин: за потемкинскими фасадами возникли настоящие «деревни и города»,

в которых не только можно жить, но и где цветет подлинная жизнь (S. 198).

Совместная статья профессора факультета политологии Свободного университета Р. Рыллевского и научного сотрудника вюрцбургского Общества по исследованию политических систем в Германии Д. Кра «Политические ритуалы в Советском Союзе и ГДР» посвящена стабилизирующей систему практике ритуалов. После второй мировой войны, пишут авторы, в странах Восточной Европы возникли бюрократические системы правления, а правление бюрократии основывается прежде всего на лояльности масс. Обеспечить ее — первостепенная, хотя и не решающая, задача номенклатуры. Избранный СССР и его союзниками путь к достижению лояльности ведет через идеологию. Огромный дефицит официальной идеологии вынуждает политику искать новые пути: бюрократическое правление пробует свои силы в культурной политике. Ритуализация политики является одной из этих форм. Ее следует понимать как управляемую социализацию и идеологизацию сознания. Как в СССР, так и в ГДР ее можно считать составной частью широкой культурной политики. Как правило, ритуалы насаждаются «сверху». И в СССР и в ГДР они объединяют номенклатурные кадры с группами населения в форме учрежденных действий и как таковые содействуют специфической политической культуре этих государств. Бросается в глаза преобладающее стремление политической элиты осмыслить ритуалы как средство политической и исторической социализации. Они должны трансформировать идеологию и исторический опыт в поведение людей (см. S. 203—205).

В статье профессора факультета политологии западноберлинского Свободного университета М. Реймана «Национальные элементы в реформистских движениях Восточной Европы» исследуются прежде всего национальные аспекты отношений между Советским Союзом и другими странами содружества. Автор выделяет источники важных противоречий, а также указывает на средства экономического, социального и политического принуждения, позволяющего официальной политике этих стран балансировать между лояльностью и противоречием. К тому же эта проблематика связана с много дискутируемым сегодня вопросом о включении Центральной и Юго-Восточной Европы в новую для нее и пока чуждую культурную среду, определенную Россией и Советским Союзом.

Рейман заявляет, что национальный элемент в реформистских движениях Восточной Европы часто не принимается во внимание. Говорят о «национализме» как особом виде нарушения принятых правил общественного поведения. В лучшем случае позитивное в этих движениях измеряется стремлением к изменению экономической и политической модели, Национальная проблема остается в тени и рассматривается как один из многих аспектов. Национальные элементы в реформистских движениях не являются одним лишь «национализмом», нельзя ограничивать их национально окрашенной политикой, так как дело касается гораздо более широкого и комплексного явления. Это результат имперского характера советской политики, следствие ограниченной национальной и государственной самостоятельности стран Центральной и Юго-Восточной Европы (S. 227).

Говоря о возможных перспективах развития восточноевропейских государств, М. Рейман отмечает, что сосредоточенность советского руководства на делах перестройки в своей стране могла бы дать Центральной и Юго-Восточной Европе возможность сократить чрезмерное внутреннее напряжение. Отношение Советского Союза к самостоятельным политическим решениям в отдельных странах указывает на большую степень терпимости, чем это было совсем недавно. Таким образом, вновь обретенная советской политикой динамика может рассматриваться как возможный исходный пункт позитивных изменений во всем социалистическом содружестве. Однако пока было бы преждевременно из подобных наблюдений делать выводы, что и в дальнейшем советская политика будет оказывать позитивное воздействие на Центральную и Юго-Восточную Европу.

Несомненно, новое поколение советских руководителей сформулирует собственное отношение к проблемам своей сферы влияния. Характер этого поколения определен относительно интенсивной критикой культа личности Сталина в эру Хрущева, причем само оно не принимало участия в политике сталинского периода. И потому следует полагать, что в отношении с государствами Восточной и Юго-Восточной Европы оно внесет больше обходительности, уважения и терпения. Однако не надо заблуждаться: именно потому, что упомянутое поколение застало социалистическое содружество еще в начале своей политической жизни, оно вряд ли способно мыслить другими категориями, чем дальнейшее укрепление этого содружества. Следовательно, национальная проблема будет существовать, а с ней и почва для развития движений, ориентированных на национальные моменты. Свое решение данной проблемы Рейман видит во включении стран Центральной и Юго-Восточной Европы в широкое международное сотрудничество, прежде всего в сотрудничество европейских стран. Только это, по его мнению, на продолжительное время может привести к ослаблению национальной напряженности в регионе и обеспечить успех реформы и в национальном отношении (S. 240).

Завершает сборник статья профессора факультета политологии Свободного университета Х. Вагнера «Советский Союз как коммунистическая держава-гегемон». В центре внимания здесь находятся вопросы о причинах возникновения и основных характерных чертах политических систем, поддерживающих советскую гегемонию в Центральной и Юго-Восточной Европе, и анализируются их потенциальные возможности в области внутренней политики, а также гомогенизации блока. В статье обрисовываются столь различные национальные условия с потенциально присущей им большой центробежной взрывной силой, что вшору «подумать о распаде гегемониальной империи» (S. 11).

Восточная Европа попала в сферу влияния СССР после второй мировой войны. Советская идеология и практика, считает Вагнер, были чужды восточноевропейцам тогда, остаются чужды и сегодня. СССР видел свою роль как гегемона в том, чтобы навязать странам Восточной Европы свою политическую систему и «советизировать» их (S. 246). В статье присутствует понятие «гегемония нового типа». Объясняя ее смысл, Вагнер пишет: «Для сталинской гегемонии характерно то, что в ней на службу чуждым интересам поставлены не только ведущие политические силы государств, попавших в советскую сферу влияния, что было правилом для „гегемонии старого типа“, но и целые народы попадают в „монополюбно-бюрократический плен“. Сталинской гегемониальной державе требуются не союзники или же партнеры, а скорее подручные, сателлиты, сатрапы. Лишь по своей внешней форме они являются национальными, тогда как по внутренней организации — тоталитарно-бюрократическими; они систематически отчуждаются от собственной политической культуры и определяются чужой; они осчастливлены паразитической индустриализацией и губительным колхозным строем; их подлинные силы парализованы, а творческие способности подавлены, их внешние отношения контролируются» (S. 246).

Принадлежность к лагерю такой «гегемониальной державы нового типа», полагает Вагнер, является «роковой для любой нации, хотя, по-видимому, некоторые нации лучше справляются со своим состоянием сателлита, чем другие. Надежда же для всех состоит только в их эмансипации, в преодолении роли сателлита путем собственного усиления и отхода от гегемониального центра» (S. 247). В заключение он усматривает во всем этом «явный парадокс: если социалистическая революция разразилась в России, где она по марксистской теории и по здравому смыслу произойти не могла, то и Советский Союз превратился в такую „коммунистическую державу-гегемона“, какой он по сути дела быть не может. Этот парадокс — прямое следствие того, что происходит, когда утопию, которой нет места в реальном мире, воспринимают серьезно и во что бы то ни стало пытаются реализовать. Всегда при этом выходит нечто совершенно другое. Советский гегемон — лишь один из примеров этого» (S. 269).

Терминология Вагнера несколько режет слух; можно сказать, что он не освободился от некоторых антикоммунистических клише времен «холодной войны». Но не будем спешить на этом основании отвергать как надуманную и саму рассматриваемую им проблему. Характер отношений СССР с другими странами социалистического содружества действительно был в недалеком прошлом гегемониальным. Пора, наконец, открыто и недвусмысленно признать реальность тех взаимосвязанных негативных процессов в Центральной и Юго-Восточной Европе, обусловленных сектантско-догматическим поворотом 1948 г., которые западные политологи называли в свое время «советизацией» и «сателлитизацией» и которые наши обществоведы не одно десятилетие пытались отрицать. Теперь, правда, времена изменились, восточноевропейские страны стали другими. Эпоха безраздельного и бесконтрольного правления в этих странах сталинистской партократии, признававшей за СССР роль «гегемониальной державы», безвозвратно уходит в прошлое.

Думается, заслуживает внимания обобщающий вывод рецензируемого сборника, авторы которого в социалистическом содружестве «обнаружили скорее центробежные стремления, а не гармоническое развитие. Вследствие этого в обозримое время мы будем иметь дело с несовершенным в высшей степени блоком, переплетение политических связей в котором характеризуется как заинтересованностью в лояльности, так и совершенно очевидными противоречиями» (S. 11). В помещенных в сборнике статьях акцентируется внимание на причинах непростого, напряженного внутриблокового взаимодействия между лояльностью и противоречием. Эти причины следует искать в первую очередь в социальных, экономических, культурных, национальных условиях, в политической реальности общеевропейского сотрудничества, а не в доктринальных спорах (см. S. 11). Соглашаясь с приведенными соображениями, заметим в заключение, что, хотя сборник увидел свет в 1988 г., а готовился и того раньше, развертывающаяся в СССР и некоторых других восточноевропейских странах перестройка подтверждает ряд содержащихся в нем аналитических данных, выводов и прогнозов. Следовательно, авторы, редколлегия и издатели проделали своевременную и полезную для читателей работу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Der unvollkommene Block. Die Sowjetunion und Ost-Mitteleuropa zwischen Loyalität und Widerspruch. Hrsg. von H. Horn, W. Knobelsdorf und M. Reiman. Frankfurt am Main — Bern — New York — Paris, 1988, 277 S.



ЛАТЫШ М. В.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 30 МАЯ 1917 Г. И ЧЕШСКАЯ ПОЛИТИКА

Первая мировая война значительно расширила диапазон чешской политики и открыла для нее возможность не только вынести национальные проблемы на мировой форум, но и собственными усилиями содействовать победе противников центральных держав и при их поддержке восстановить независимость. С началом войны чешские политические деятели оказались перед сложным выбором: попытаться решить «чешский вопрос» в рамках Австро-Венгрии или выступить против нее; будет ли выгоднее, исходя из классовых и других соображений, сделать ставку на минимальную программу — удовлетвориться внутренними реформами империи (автономией) или на максимальную национально-освободительную программу, предполагающую расчленение империи Габсбургов и создание собственного государства. На протяжении первых трех лет войны официальное руководство всех чешских партий ориентировалось на сохранение габсбургской монархии, однако под влиянием Февральской революции в России в международной ситуации возникли новые факторы, побудившие буржуазию славянских народов изменить свое отношение к империи и династии. Радикализация чешской политики осуществилась за короткий срок — с февраля до мая 1917 г., а поворотным пунктом ее стала разработка государственно-правовой декларации, с которой выступили чешские депутаты при открытии парламента 30 мая. Анализ этого периода помогает лучше понять основные тенденции развития национально-освободительного движения в Чехии как фактора, способствовавшего крушению дуалистической монархии и приведшего к образованию независимой чехословацкой буржуазной республики.

10 января 1917 г., отвечая на обращение президента США В. Вильсона, державы Антанты среди прочих целей войны провозгласили освобождение угнетенных народов Австро-Венгрии, причем в восьмой статье их коллективной ноты впервые упоминались «чехословаки». В ней содержалось требование «освобождения итальянцев, славян, румын и чехословаков от иноземного господства» (цит. по [1, s. 158]). «Освобождение» в данном случае можно понимать двояко. Если в отношении итальянцев предполагалась аннексия части австрийской территории, граничащей с Италией, то для «чехословаков» — более или менее широкая автономия в рамках империи Габсбургов.

Заявление союзников о предоставлении независимости угнетенным народам Австро-Венгрии не могло не вызвать резонанса в правящих кругах империи. Посол США в Вене Ф. Пенфилд передавал в государственный департамент содержание речи венгерского премьер-министра графа Тиссы, который раздраженно заявил: «Условия наших противников означают раздел австро-венгерской монархии!» (цит. по [2, s. 29]).

Латыш Михаил Витальевич — канд. ист. наук, младший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики.

Итак, впервые в международной практике в официальном дипломатическом документе упоминалось о «чешском вопросе». Не вызвало сомнений, что Президиум Чешского союза («общенационального» блока, консолидировавшего основные чешские партии) должен занять какую-то позицию по отношению к ноте Антанты. Непосредственный участник событий младочех Эд. Тоболка констатирует, что Президиум Чешского союза с редким единодушием решил занять отрицательную позицию в отношении этой ноты. Члены Президиума были уверены, что при данной ситуации в мире судьба чешского народа решится в рамках Австро-Венгрии. Спор вели лишь о том, следует ли осудить ноту в форме коммюнике, опубликованного в печати, или в форме краткого заявления министру иностранных дел. Инициативу составления чернового текста взял на себя Тоболка, предложив отметить в заявлении факт добровольного приглашения чехами габсбургской династии на основе свободного выбора и виновности самой Австрии в провозглашении Антантой одной из целей настоящей войны освобождение чехословаков, поскольку она не смогла решить свои национальные проблемы. По свидетельству Тоболки, на собрании Президиума 22 января безо всякого нажима со стороны правительственных сфер было решено осудить ноту. В действительности все обстояло сложнее.

Полемизируя с Тоболкой, Я. Странский, сын члена Президиума А. Странского, полагал, что нельзя слишком упрощенно и однозначно оценивать позицию союза. «Для пояснения нужно коротко остановиться на политических направлениях, наметившихся к тому времени в союзе. Их два. Одно, безоговорочно проавстрийское, верило в конечную победу Германии и Австрии и действовало исходя из этой посылки. Другое направление — оппортунистическое, стремящееся не допустить компроматации „домашней“ политикой заграничных акций, словом, нежелавшее наперед ставить все на австрийскую карту» [3, с. 255]. На рассмотрении находились два проекта — Странского и Шмерала, отличавшиеся лишь заключительной формулировкой, содержащей критику внутренних отношений в империи. В окончательной редакции прокламировалась непоколебимая верность чешского населения империи и династии в прошлом и будущем, выражалось сожаление, что законные представители чешского народа в земском сейме и в парламенте лишены возможности высказаться, так как ни сейм, ни парламент не созываются. Заявление лишь вскользь коснулось нерешенных национальных проблем монархии.

Министр иностранных дел Австро-Венгрии О. Чернин не удовлетворился составленным заявлением и, пригласив к себе членов Президиума Чешского союза Фр. Станека, Й. Машталку и Б. Шмерала, настоял на изменении текста. Тут же министр предложил Президиуму свой, заранее подготовленный текст, более лаконичный и без критики внутренней ситуации: «Президиум Чешского союза отвергает ответ держав Антанты президенту США Вильсону, в котором враги империи помимо прочего привели „освобождение чехов от иноземного господства“ в качестве одной из целей войны, как инсинуацию, основанную на неверных оценках, и заявляет, что чешский народ как в прошлом, так и в настоящем лишь под скипетром Габсбургов видит свое будущее и условие развития» [4, с. 220].

Чернин, убедившись, что Президиум вполне добровольно следует в формате правительственной внешней политики, мог быть уверенным в дальнейших уступках со стороны чешских политиков. Чешский союз капитулировал перед Черниным в расчете, что новое проявление лояльности к правительству приостановит планируемое разделение чешских земель, уступки немецким национальным партиям в языковом вопросе и склонит правительство к проведению амнистии для политических заключенных. Чешский союз клюнул на приманку министра иностранных дел, обещавшего ему прямые контакты с императором. Внешнеполитическое ведомство Австро-Венгрии с нескрываемой радостью поспешило сделать выступление Чешского союза достоянием мировой общественности. Выходило, что самая авторитетная чешская политическая организация на родине полностью дезавуировала акции заграничного сопротивления. «Трюк Чернина

относится к последним успешным акциям австрийской внешней политики» [5, s. 365].

Тоболка пишет о нарушении существовавшей до того момента гармонии между чешской «домашней» политикой и заграничным сопротивлением, хотя на деле координация действий осуществлялась лишь небольшой кучкой заговорщиков, группировавшихся вокруг подпольной антигосударственной организации «Маффия». Пока заявление Чешского союза проникло в иностранную печать, чешской заграничной пропаганде удалось парализовать произведенный им эффект. Иностранные органы информации, недовěřавшие официальным сообщениям из центральных держав, дали себя убедить в том, что заявление сделано под принуждением и не отражает настроений большинства чешских политиков [6, s. 91].

Акция Чешского союза, по определению современного чехословацкого исследователя О. Урбана, «знаменовала собой кульминацию проавстрийского активизма периода первой мировой войны» [7, s. 606].

К началу 1917 г. стала очевидной обреченность австро-венгерской империи, ее моральное и физическое истощение. «Крушение царизма в России с последующим заключением превентивного мира на Востоке еще могли вдохнуть силы в умирающий организм, но в то же время Февральская революция решающим образом повлияла на радикализацию политической жизни западного соседа, усугубив его обреченность» [8, s. 223], — писал современник событий публицист В. Дык. Действительно, правящие круги Австро-Венгрии не могли игнорировать эффект, произведенный буржуазно-демократической революцией в соседней державе, и с беспокойством наблюдали за усилением демократических и националистических настроений в собственном государстве, ставящих под угрозу само монархическое устройство; с другой стороны, они утешали себя хотя бы временным ослаблением военного противника и надеждой на заключение мира на Востоке. Непосредственное воздействие Февральской революции в России на политическую жизнь монархии Габсбургов проявилось в отмене программы немецких националистов, созыве парламента после трехлетнего правительственного абсолютизма, оживлении партийной жизни, ослаблении цензуры, что способствовало, правда, в ограниченных пределах, выражению общественного мнения.

К началу 1917 г. в правительственных кругах созрело, наконец, твердое решение пойти навстречу требованиям немецких националистов. Протестуя против этого, Чешский союз предупреждал премьера И. Клам-Мартинеца о последствиях планируемого изгнания чешского языка из государственных органов и судопроизводства, отстранения чешских служащих, преследования литературы. Клам-Мартинец не внял призывам, для него якобы имела значение не национальность чиновников, а лишь то, чтобы они были «добрыми австрийцами». Тогда Чешский союз избрал следующую тактику: пропагандистскими средствами и личным влиянием на правящую верхушку, членов кабинета Клам-Мартинеца, и, если нужно, на самого императора, а также заявлениями в печати сорвать планируемую акцию. Такая тактика могла быть успешной лишь при постоянном выражении лояльности, верности династии, сопровождаемом предупреждениями о тяжелых последствиях планируемых мероприятий. Чешский союз, стремясь сохранить реноме выразителя общенациональных интересов, стал в оппозицию к режиму, но опять-таки оппозицию лояльную, блокируя всякие попытки сдвинуть союз на позиции радикализма. Чешские буржуазные политики, тон среди которых задавали активисты, не форсируя события, ждали пока правительство само решит, что для него важнее — удовлетворить горстку немецких экстремистов, либо семимиллионное чешское население. Поиски выхода вели к союзу с другими славянскими народами империи. 7 марта Чешский союз и хорватословенский клуб договорились о единстве действий в конституционно-политических вопросах.

Внутренний курс правительства во время войны диктовался внешнеполитическими расчетами. Основные требования немецких националистов — введение немецкого языка в качестве единственного государствен-

ного и разделение Чехии на немецкие и чешские (фактически смешанные. — М. Л.) округа оказались погребены не сопротивлением чешских или югославянских политиков, а, как ни странно, министром иностранных дел Черниным. Тот, «склонив на свою сторону императора, не имевшего твердых политических взглядов, провел, к великому удивлению Клам-Мартинца и немецких представителей, 16 апреля через Совет министров решение об отказе от каких-либо начинаний в этом направлении» [9, s. 111]. Чернин достиг то, что не было доступно пониманию немецких националистов и их защитников в лице главы кабинета: односторонние уступки господствующей нации, проведенные к тому же декретированием сверху, явятся неудачным ответом на буржуазно-демократическую революцию в соседней стране и на мирные инициативы президента Вильсона, казавшиеся прекрасной предпосылкой для заключения сепаратного мира или даже окончания войны.

Смягчение правительственного курса не принесло радости радикальному крылу чешского лагеря, которое в вынужденных уступках видело попытку скомпрометировать национальное движение. «Больше всего мы опасались амнистии, — признается В. Дык, — и приветствовали скорее проведение немецкой национальной программы, неизбежно спровоцировавшую бы взрыв негодования населения» [8, s. 208]. Радикалы явно руководствовались принципом «чем хуже — тем лучше».

После того, как русская революция выдвинула лозунг права наций на самоопределение, когда ведущим государственным деятелям империи стала очевидна слабость монархии и рассеялись опасения чешских политиков относительно немецких шовинистических планов разделения чешских земель, уверенность чехов в своих силах настолько окрепла, что стало возможным формирование радикально-националистической оппозиции, критиковавшей предшествующую политическую практику и ставившей во главу угла максимальные национальные требования. Время от середины марта до мая 1917 г. знаменует собой этап бурного роста национального радикализма и отход от прежнего оборонительного лояльного курса.

Изменившаяся международная ситуация и обострение внутривнутриполитического кризиса указывали на невозможность непарламентского правления после трех лет абсолютизма. Обещание нового монарха при вступлении на престол — «справить конституционно» — приветствовалось Чешским союзом, рассудившим, что империя Габсбургов начала эволюционировать в направлении общей демократизации и большего, нежели прежде, учета пожеланий угнетенных народов. Освещая на своих страницах задачи открывающегося австрийского парламента, «*Národní listy*» призывали к «урегулированию отношений между отдельными народами и государством в духе полного равенства и справедливости посредством ревизии Декабрьской конституции», что приведет к появлению настоящей потребности в «модернизации Австрии, дабы и она, подобно остальной Европе, прониклась духом подлинного парламентаризма» [10, 1917, 25 IV].

Орган социал-демократии «*Právo Lidu*» видел главную миссию парламента в «залечивании ран» и «смягчении ущерба, причиненного войной». «Назначение палаты депутатов», — поучало «*Právo Lidu*», — во всемерном содействии построению новой Австрии... Три предшествовавших года стали такой обстоятельной школой, научившей нас хорошо различать конституционность и абсолютизм, что мы теперь абсолютно уверены — в австрийском парламенте не найдется ни одной партии, готовой стать на путь обструкции» [11, 1917, 1 V]. Официальное руководство социал-демократической партии, таким образом, шло в парламента для работы в сотрудничестве с буржуазными партиями.

Итак, во всей империи с нетерпением ожидался торжественный момент, когда представители различных народов впервые за время войны смогут свободно высказаться с парламентской трибуны под пристальным вниманием мировой общественности. Чешские депутаты при открытии парламента 30 мая намеревались выступить с государственно-правовой декларацией. Ее формулировка оказалась архисложной и деликатной задачей. Не вызывала сомнений абсолютная непригодность на этот слу-

чай государственно-правовых заявлений, с которыми они выступали начиная с 1879 г. при открытии сессий каждого нового парламента. Было совершенно очевидно, что после образования единого Чешского союза необходимо выступить с единым, общим заявлением.

Проект декларации очень эмоционально обсуждался на нескольких заседаниях представителей Чешского союза. Вождю социал-демократов Шмералу пришлось ревностно отстаивать социал-демократический тезис о естественном праве на самоопределение наций, подвергавшийся нападкам остальных чешских партий, находившихся на позиции права исторического. Отражением дебатов по основополагающему, как тогда казалось, вопросу — на каком праве суждено в дальнейшем базироваться чешской политике, явилась речь известного младочеха Фр. Фидлера, произнесенная им на собрании в Карлине. В ней он проанализировал «две ключевые идеи чешской политики» — историческое право, выраженное историко-политическим федерализмом в духе Палацкого, и национальное, воплощенное в программе автономии, отстаиваемой социал-демократами. «И сегодня чешская политика колеблется между этими ключевыми направлениями», — отмечал оратор, — «городские слои (имелась в виду буржуазия. — М. Л.) заявляют о своей приверженности историческому праву, социал-демократия — национальному (то есть естественному)... Чешская политика только тогда может рассчитывать на успех, — продолжал Фидлер, — если выступит единым фронтом при решении чешского национального вопроса. Поэтому важнейшей политической задачей представляются поиски компромисса между историческим и национальным правом, поскольку демократический характер чешской политики требует опоры на широкие слои народа при решении конституционных проблем» [10, 1917, 26 V]. Фидлер в завуалированной форме раскрыл планы чешской буржуазии — сохраняя видимость борьбы за общенациональные интересы, подчинить своему влиянию слои населения, поддерживающие социал-демократию. Это удалось в значительной степени благодаря пособничеству правых социал-демократических лидеров и ошибочности партийной платформы по национальному вопросу.

Еще одна инициатива заявления исходила от историка Й. Пекаржа, составившего памятную записку, которую после подписания профессорами всех факультетов Карлова университета намеревались вручить Чешскому союзу. Памятная записка исходила из традиционно истолкованного государственного права в аранжировке злободневных политических аргументов. В ней содержался план превращения Австрии в федерацию, состоящую из исторических частей. Тем самым Пекарж эксгумировал старую программу Фундаментальных статей во вполне лояльном проавстрийском и династическом духе. В идейном багаже Пекаржа не нашлось места для Словакии. По оценке чехословацкой межвоенной историографии, проект Пекаржа являлся «не только недостаточно смелым, но и опасным, поскольку подразумевал соглашение с династией, сохранение старой монархии, оставление Словакии на произвол судьбы, а главное не имел реальных шансов на успех» [12, s. 39].

Имелись и более радикальные проекты. Так, государственные прогрессисты А. Калина и Й. Прунар доказывали, что единственной ареной для борьбы за государственное право может быть лишь сейм королевства чешского. Это условие было трудновыполнимо и играло роль скорее тактического хода против вероятного сотрудничества чешских партий с правительством. Чешское заграничное сопротивление протестовало против созыва австрийского парламента непосредственно перед его открытием, доказывая незаконность всех решений Вены, их неправомочность для чешского народа. Данный протест — явное выражение недоверия к политическому мужеству и дальновидности депутатов, а с другой стороны — осознание потребности в национальной программе, достойной переломного, критического момента в чешской истории. Так родилась идея манифеста чешских писателей.

Под манифестом, появившимся в мае 1917 г., стояло 222 подписи писателей и других деятелей культуры. Манифест, черновик которого

набросал поэт Я. Квацил, не представлял детально разработанной политической программы, а являл собой настоятельный призыв к достойной и мужественной защите национальных интересов. В нем содержались требования амнистии, свободы политической жизни, неприкосновенности депутатов, ликвидации цензуры. В области международных отношений выдвигалась идея создания «демократической Европы, Европы суверенных и свободных народов, Европы, которой принадлежит завтрашний день» [11, 1917, 24 V].

Поставить подпись под таким манифестом в то время означало подписать себе приговор военного суда. Вождь «Маффии» Пш. Шамаль здраво рассудил: «Наказанию могут подвергнуть небольшое число лиц, пусть даже пользующихся известностью, ну а если подпишут более двухсот человек — всех не пересажают!» (цит. по [5, s. 395]). К выступлению писателей присоединились деятели творческой интеллигенции, профессора высших учебных заведений, учителя, инженеры и многие другие.

Манифест чешских писателей был встречен руководством Чешского союза и его печатными органами прохладно, если не сказать враждебно. Прежде всего «*Národní Listy*» и «*Právo Lidu*» усмотрели в нем вмешательство «безответственных» элементов в парламентарские дела, а также почувствовали себя задетыми явным недоверием, особенно в том месте манифеста, где депутатам предлагалось выразить волю народа или отказаться от мандатов. Манифест писателей представлял собой программу обновления Чехии с присоединением Словакии, без династии Габсбургов и вне рамок австро-венгерской империи. Таким образом, впервые на родине была открыто сформулирована политическая программа нового времени, причем близкая к программе, за которую ратовали за границей сторонники Масарика. Манифест, несомненно, отвечал настроению широких слоев населения. Выступлением писателей идея чехословацкой независимости оказалась вынесена на форум широкой общественности, а оттуда, уже снизу, был оказан сильный нажим на руководство партий, в немалой степени повлиявший на характер формулировки государственно-правового заявления. Топ печати стал заметно более оппозиционным. Особое внимание общественности, к примеру, привлекла статья в популярной газете «*Večer*» под заголовком «Чешский май, славянский май», в которой из «великой освободительной революции на востоке» черпалась надежда на «приход весны и для чехов... через каких-нибудь несколько месяцев» [3, 1917, 1 V].

Таким образом, на руководство политических партий, занятое поисками взаимоприемлемого варианта государственно-правового заявления, было оказано определенное давление как рядом общественных и профессиональных организаций, так и стихийным демократическим подъемом широких масс. Конкретное обсуждение заявления произошло на общем собрании Президиума Чешского союза с участием функционеров политических партий в зале заседаний аграрной партии 27 мая. Именно лидер аграриев А. Швегла сумел направить дискуссию в новое перспективное русло. Он предложил короткий вариант, который после некоторых исправлений и был принят за основу. В нем говорилось о включении словаков в чешское государство.

Словацкие деятели В. Шробар и В. Штефаник впоследствии жаловались, что пункт о включении Словакии в чешскую программу натолкнулся на сопротивление и непонимание со стороны католиков и государственных прогрессистов. Те боялись, что отход от исторического права создаст опасный прецедент, при котором целостность и неделимость земель короны святого Вацлава окажется под угрозой. Для оказания нажима на чешских политиков Шробар неоднократно приезжал в Прагу, информируя их о ситуации в Словакии. По его данным, словаки страстно желали избавиться от венгерского засилья, словацкая интеллигенция выступала за единое государственное образование с чехами, иначе, под чужим игом, словакам грозит неминуемая гибель. «Нет учителей, нет средних школ и никакой профессуры, число словацкой интеллигенции и так очень незначительно. через несколько лет процесс мадьяризации окончательно поглотит нацио-

нальный элемент сначала в городах, а потом и в деревнях» [14, s. 51]. Шробару для нейтрализации своих оппонентов пришлось даже заручиться поддержкой видных младочешских политиков К. Крамаржа и А. Рашина, находившихся в заключении.

На решающих заседаниях в Праге 27 мая и Вене 29 мая Словакию, наконец, включили в программу, как вспоминает В. Шробар, благодаря инициативе аграриев, национальных социалистов и социал-демократов. Современный чехословацкий историк Я. Галандауэр ставит под сомнение свидетельство Шробара о поддержке социал-демократами этого требования. Очевидец событий католик М. Грубан засвидетельствовал настолько бурное прохождение голосования, что депутатам пришлось расступиться для обеспечения точного подсчета голосов. Сама по себе незначительная деталь показывает, что большинство социал-демократов голосовало против включения Словакии, так как католики и расколовшиеся младочехи не смогли бы создать столь сильное меньшинство, противостоящее блоку аграриев, национальных социалистов, партии Странского и младочешских радикалов.

Апробация различных вариантов государственно-правового заявления позволяет сделать вывод, что требование присоединения Словакии к историческим землям было принято чешскими политиками лишь в последнюю минуту, а отнюдь не органически в соответствии с предшествовавшим формированием взглядов, и встретило отпор и непонимание со стороны некоторых из них. В основе такого сопротивления лежали, с одной стороны, доктринерство — Словакии не находилось места в традиционной чешской теории исторического права, с другой — политические мотивы, когда активистам, стремившимся лишь к ревизии конституции, наличие Словакии в государственно-правовой программе казалось досадной помехой на пути урегулирования отношений чехов с Веной. И, наконец, включение Словакии отразило резкую радикализацию чешской политики в начале 1917 г.: оппозиционные элементы одержали верх среди младочехов и социалистов, прогрессирующая радикализация наблюдалась и среди аграриев. Заявление, как уже было показано, оказалось «результатом давления активизирующихся масс и вместе с тем компромиссом двух противоборствующих направлений чешской политики» [9, s. 125]. Последствия не замедлили сказаться. Прежде всего некоторые оппортунистически настроенные депутаты поставили свои подписи под заявлением не потому, что оно выражало их убеждения, а из-за морального принуждения. Существовала опасность, что они вновь увлекут чешскую политику на путь дискредитирующей антиавстрийские акции за границей. Кроме того двойственность и неопределенность декларации давала возможность спорить и дискутировать тем, кто признавал ее безоговорочно. Одни видели в ней программу реконструкции Австрии через сотрудничество с правительством, другие делали акцент на идее создания независимого чехословацкого государства, объединявшего обе национальные ветви. Заявление, можно сказать, стояло одной ногой на почве революционного национального принципа (независимость всего чехословацкого народа в составе единого национального государства), а другой — на почве старых доктрин сохранения монархии и габсбургской династии.

Открытие парламента предшествовали совещания в присутствии премьера Клам-Мартинца, на которых чешские представители оговаривали условия участия в парламентской жизни. «Депутаты Станек и Тусар настаивали на полной свободе прений в парламенте и на пленарных заседаниях, безоговорочном соблюдении депутатского иммунитета. Они объявили недопустимой какую бы то ни было цензуру парламентских выступлений и проектов со стороны непарламентских кругов. Их позицию разделяло большинство присутствующих» [10, 1917, 25 V].

30 мая, при участии главы кабинета, проходило собрание старейшин всех парламентских партий, на котором речь шла о подготовке к открытию первого заседания палаты депутатов. Станек известил присутствовавших о намерении Чешского союза выступить с государственно-правовым заявлением. Премьер пожелал ознакомиться с текстом. «Заявление, — пишет

Фр Соукуп, — произвело эффект разорвавшейся бомбы и вызвало негодование как членов правительства, так и немецких партий. Министры пригрозили отставкой, если заявление будет зачитано в таком виде. Ничто не помогло» [5, s. 417]. Премьер Клам-Мартинец, имевший весьма туманные и даже превратные представления о действительной ситуации в чешском политическом лагере, постарался убедить Станека изъять из заявления некоторые пассажи, сославшись на опасное впечатление, которое может создаться за границей, если на первом же заседании парламента всплывут столь острые противоречия. Станек и Тусар, представлявшие Чешский союз, ответили отказом. Станек не желал изменить хотя бы слово, одобренное союзом, а Тусар указал главе кабинета на то, что за границей информированы о политической ситуации в Австро-Венгрии гораздо лучше, чем принято думать и бессмысленно демонстрировать какие-то «потемкинские деревни» [6, s. 247—248]. Затем выступили югославянские депутаты, которые, зная о содержании чешского заявления, составили свое в том же духе. С чехами и делегатами югославянских народов солидаризировались поляки и украинцы. Государственно-правовое заявление Чешского союза сплотившись против старой монархии все славянские народы империи.

Чешский союз намеревался представить на рассмотрение парламента три документа: 1) государственно-правовое заявление, регулярно подававшееся с 1879 г. при каждом открытии парламента и со временем превратившееся в рутинную процедуру; 2) проект создания конституционного комитета для ревизии конституции; 3) запросы к правительству, касающиеся произвола в обращении с чешским населением во время войны.

30 мая председатель союза Фр. Станек огласил в палате депутатов следующее заявление: «Представители чешского народа исходят из глубокого убеждения, что нынешнее дуалистическое устройство привело к явному ущемлению интересов как господствующих, так и угнетенных наций, и только превращение габсбургско-лотарингской монархии в федерацию свободных и равноправных государств устранил неравноправие и обеспечит всестороннее развитие каждого народа в интересах всей империи и династии. Заявляя в эту историческую минуту о естественном праве народов на самоопределение и свободное развитие, подкрепленное в нашем случае неотъемлемыми историческими правами и действующими государственными актами, мы именем всего народа будем добиваться соединения всех ветвей чехословацкой нации в демократическое государство, включая и словацкую ветвь, связанную с чешскими историческими узами» [15]. Заявление выражало мнение всех чешских партий, от клерикалов до социал-демократов, впервые в истории парламентской жизни выступивших совместно с другими фракциями.

Государственно-правовое заявление Чешского союза бесспорно явилось далеко идущей программой внутреннего переустройства империи Габсбургов, направленной против всей системы дуализма и, кроме того, ставило ряд политических проблем конституционного порядка. В этом смысле чешская внутренняя политика хотя бы в области программы дистанцировалась от существующей государственной системы. Одновременно, оставаясь все же проавстрийской, она тем самым представляла альтернативу программе чешской политической эмиграции за границей, ориентированной на создание полностью самостоятельного чехословацкого государства на развалинах монархии Габсбургов. Председатель Чешского клуба в парламенте прокомментировал заявление 30 мая как «проявление политической силы и политического благоразумия одновременно. Чем оно короче, чем проще и значительнее его форма, тем больший эффект оно произвело в парламенте и на общественность» [11, 1917, 31 V].

Значение заявления Чешского союза для последующего развития событий современники оценивали по-разному. Тоболка видел в нем «новый пример компроматации сопротивления за границей» [4, s. 243]. Масариковское руководство национально-освободительным движением постаралось насколько возможно снизить на Западе резонанс, произведенный заявлением Чешского союза, представив его тактической уловкой с целью

предотвратить репрессии, и поэтому объявило его «революционным актом». Как пишет соратник Масарика Э. Бенеш, «мы объяснили государствам Антанты, что планы федерализации империи были обусловлены чисто тактическими соображениями — необходимостью предотвратить преследования со стороны австрийских властей» [16]. Один из лидеров социал-демократии того времени Г. Хабрман называет заявление 30 мая «буквой и духом дела оппортунистов» из-за призыва к перестройке монархии в федеративное государство в интересах империи и династии. Но здесь же он вынужден признать, что народ встретил его с пониманием и даже энтузиазмом. «Никто не верил, что оппортунистическая окраска и ссылки на интересы империи и династии остановят ход событий» [17, s. 212]. Сходной точки зрения придерживалась и марксистская историография 50-х годов, видевшая в заявлении доказательство проавстрийского курса чешской политики. Но если критики в межвоенный период осуждали тон заявления, то австро-венгерское правительство, немецкие и венгерские политические круги расценили фразы о лояльности как формальность. От имени немецких партий чешское заявление осудил либерецкий депутат-националист Р. Пахер, заявив, что «с чешским государственным правом раз и навсегда покончено» [10, 1917, 31 V]. Немцам чешское заявление казалось совершенно неприемлемым. Чешские претензии на Словакию привели в смятение венгерские правящие сферы и были единодушно осуждены их прессой. В венгерской печати неоднократно повторялось, что в момент, когда венгры оказывают столь важные услуги делу спасения Австрии, «чехи дерзнули покуситься на прекрасную жемчужину из короны святого Штефана». Транслейтанский премьер граф Тисса направил Клам-Мартинцу личное послание с требованием отклонить «наглое» заявление чехов.

Во взглядах историков межвоенной и послевоенной Чехословакии прослеживается заметное различие в подходе к государственно-правовому заявлению чешской делегации. Так, если в домюнхенской историографии лояльные фразы об империи и династии считались смертельным грехом против чехословацкой государственности, то современные исследователи большее внимание уделяют позитивным положениям документа.

Отрицательное отношение руководства двух наиболее многочисленных и политически влиятельных народов империи предопределило реакцию правительства. Перед реальной перспективой заключения сепаратного мира правительство и двор опасались, что у «Антанты создастся впечатление о слабости их позиций в собственной стране и, тем самым, поднимется цена, которую империи суждено будет заплатить за выход из войны» [6, s. 248]. Кабинет министров не пожелал пойти навстречу чешским требованиям, содержавшимся в документе, боясь перераспределения политического влияния в империи. Вдобавок он не располагал свободой действий в венгерской части империи, а присяга, данная при коронации императором Карлом, обязывала защищать целостность Венгрии. «Нарушение присяги делало невозможным не только выполнение чешских требований, но и решение югославянской проблемы в рамках империи посредством триализма, объединившего всех австрийских южных славян в единое государственное образование, и потребовало бы колоссальной энергии, которую едва ли можно было ожидать от правящей верхушки, не говоря уже о крайнем риске, сопряженном с такими экспериментами в военное время» [18]. Доказательством неспособности правящих кругов пойти навстречу чешским политикам служит последняя отчаянная попытка императора Карла успокоить народы монархии манифестом о федерализации от 16 октября 1918 г. Даже на грани полной катастрофы императорский манифест не обещал в полном объеме того, что требовалось в заявлении 30 мая. Манифест провозглашал перестройку Австрии в союз национальных государств, но в их этнических границах, что лишало чешское государство пограничных областей с немецким большинством. Перемены, объявленные в манифесте, не касались Транслейтании — дуализм оставался неприкосновенным, а чешское государство не включало Словакию. И если чешская национальная программа не была реализована

в момент, когда император готов пойти на самые решительные шаги для спасения империи, значит в существующем государственном устройстве эта программа вообще не имела шансов на успех. Вполне вероятно, что большинство чешских парламентариев не желало распада Австрии, но остается непреложным фактом — парламентская декларация, несмотря на лояльные формулировки, оказалась в противоречии со структурой дуалистической империи и в этом смысле оказала на нее дестабилизирующее воздействие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ražín L.* Vznik a uznání československého státu. Praha, 1926.
2. *Kalína A. S.* Krví a železem dobyto československé samostatnosti. Praha, 1938.
3. *Naše revoluce*, roč. II, 1924, sv. I. Praha, 1925.
4. *Tobolka Zd.* Politické Dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby, díl. 4. 1914—1918. Praha, 1937.
5. *Soukup Fr.* 28 říjen 1918. Předpoklady a vývoj našeho domácího v československé revoluci za státní samostatnost národa, díl I. Praha, 1928.
6. *Paulová M.* Tajný výbor /Maffie/ a spolupráce s Jihoslovany v letech 1916—1918. Praha, 1968.
7. *Urban O.* Česká společnost 1848—1918. Praha, 1982.
8. *Dyk V.* Vzpomínky a komentáře 1893—1918. Praha, 1927.
9. *Sychrava L., Werstadt J.* Československý odboj. Praha, 1923.
10. *Národní listy.*
11. *Právo Lidu.*
12. *Naše revoluce*, roč. XIII, 1937, sv. I. Praha, 1937.
13. *Večer.*
14. *Hajšman J.* Maffie v rozmachu. Praha, 1933.
15. *Archiv Národního muzea v Praze.* Pozůstalost C. Duška, kart. 8, № 406.
16. *Beneš E.* My war memoirs. London, 1928, p. 233.
17. *Habrman G.* Mé vzpomínky z války. Črty a obrázky o událostech a zá svobodu a samostatnost. Praha, 1928.
18. *Historický časopis*, 1971, roč. XIX, č. 2, s. 182.



ИВИНСКИЙ П. И.

ПОЛЬСКО-ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ

В изданный в СССР сборник [1] включена небольшая часть сделанного польским ученым. Контекст целого в значительной мере восстанавливается в предисловии составителя, где поднят и вопрос о значении трудов Б. Бялокозовича для современной науки. Выход его книги может стать поводом для специального разговора об одном из известнейших современных славистов, чьи компаративистические исследования, методологические рекомендации и научно-организационные усилия стали неотъемлемой частью современной филологической науки, дают представление о путях сравнительно-исторического литературоведения. Остановимся лишь на трех из заслуживающих пристального внимания аспектах: польско-восточнославянские литературные связи как объект изучения, методология и организация исследования, внедрение результатов исследований в духовную жизнь народов и в культурный обмен между ними.

В вызвавшей большой резонанс работе 1974 г. [2] и в ряде последующих программных выступлений Б. Бялокозович определяет — от публикации к публикации все более полно — польско-русские, польско-украинские и польско-белорусские многовековые литературные и культурные взаимосвязи как особый объект славистической компаративистики и разрабатывает конкретную методологию его изучения. Говоря об определенной культурно-исторической самостоятельности региона, Бялокозович учитывает более широкий контекст — связи каждой из этих литератур между собой, другими славянскими, балтийскими и западными литературами, а в ряде случаев и более отдаленными — грузинской и армянской. В хронологическом плане ученый намечает основные этапы во взаимосвязях, выделяет культурные центры (например, Вильнюс), говорит о важности пограничья культур (например, Подляшья), занимается проблемой билингвизма и мультилингвизма — В. Сырокомли, В. Дунина-Марцинкевича, Я. Купалы, Я. Лучины, И. Франко и др. В ряду разработок особое место занимает анализ давнего взаимодействия прогрессивных революционных сил польской и русской культур, польско-советских литературных связей; ученый глубоко исследует их социально-историческую, идейно-философскую, нравственно-гуманистическую и художественно-эстетическую основы и своеобразие. В разделах второй части сборника, как и в ряде других публикаций и выступлений последних лет, Бялокозович, анализируя противоречивые идеологические и культурные процессы нашей современности, призывает видеть главное — неуклонное стремление разъединенных по политическим и идеологическим причинам разных течений внутри национальных культур к сотрудничеству, являющемуся

Ивинский Павел Иванович — профессор кафедры русской литературы Вильнюсского государственного университета.

одновременно новым импульсом для обогащения международного духовного обмена.

Разделы книги о польско-русских литературных связях эпохи романтизма, взаимоотношениях А. Герцена и А. Мицкевича, о польских мотивах в поэме А. Блока «Возмездие» и другие — результат многолетних многоаспектных изысканий, нашедших реализацию во многих публикациях. Для слависта, культуролога важны скрупулезно воссозданная история изучения вопроса, тщательное обследование источников (рукописи, письма, свидетельства современников, архивные материалы), непререкаемое внимание к обстоятельствам издания, переводов художественного текста, его восприятия в иноязычной среде, описание первых литературоведческих и критических оценок, типологические сопоставления, перепроверка имеющихся и введение новых биографических фактов. Так, обратившись к работам Б. Бялоковича о связях Л. Толстого с Польшей, мы входим в чрезвычайно широкий круг вопросов: Толстой о Польше, поляках и польской культуре; его переписка с польскими корреспондентами (М. Здзеховским, Я. Стыкой, В. Ландовской); переводы, публикации и восприятие Толстого в Польше; польские писатели о Толстом; «Война и мир» и польский исторический роман в контексте западноевропейской литературы; польское толстоведение; ознакомление польского читателя с советским толстоведением. Эти и другие аспекты и материалы вошли в известную монографию профессора [3], высоко оцененную во многих странах (29 рецензий). Последовавшие после выхода монографии публикации Б. Бялоковича обогатили науку о Толстом новыми источниками и аспектами: переписка М. Здзеховского с Толстым, В. Чертковым, П. Сергеенко и освещение в связи с нею отношения Толстого к так называемому неохристианству и католическому модернизму; переписка Я. Бодуэна де Куртенэ с В. Чертковым и его издательством «Свободное слово».

В вошедшей в сборник главе «Польша и поляки в творческом сознании Александра Блока» [1, с. 151—177] Б. Бялокович, используя известные и ряд вновь обнаруженных биографических материалов и свидетельств, обнаруживает такую степень погруженности русского поэта в польскую тему, которая неясна была блоковедению и которая, кроме прочего, по-новому освещает и основной лейтмотив поэмы «Возмездие» — мазурку, и сопутствующие ему мотивы: «мстительная химера», «задворки польские России», «лучи большой зари».

Первая часть рецензируемой книги непосредственно соотносится с монографией Б. Бялоковича [4], также вызвавшей оживленное положительное обсуждение в польской и зарубежной славистике (38 рецензий). Монография, как и предшествующие ей и многочисленные последующие разработки по существу могут рассматриваться как основа создаваемой ныне под руководством ученого истории польско-русских и польско-советских литературных связей.

К концу 60-х — началу 70-х годов изучение польско-восточнославянских литературных и культурных связей достигло такого уровня, когда возникли реальные возможности осуществить давно назревшую объективную необходимость — создать итоговые работы; на эту необходимость указывал крупнейший польский литературовед-компаративист старшего поколения М. Якубец в ряде публикаций 60-х годов и отчасти реализовал ее в историко-сравнительных главах вузовского учебника [5]. Но следующий этап предполагал большой источниковедческий труд; исследование забытых и вновь возникших контактных связей, типологических соответствий; учет реального бытования польской литературы в России и СССР и русской в Польше; изучение переводов и интерпретаций; введение в научный оборот сравнительно-исторических исследований прошлого и т. п. Инициативу по организации этой работы взял на себя с начала 70-х годов Б. Бялокович. Назовем, на наш взгляд, основные ее результаты.

Прежде всего о библиографии. Уже в 1971 г. в качестве приложения к [4, с. 304—353] Б. Бялокович ввел в научный обиход весьма солидную, для того времени близкую к исчерпывающей, специальную библиографию

работ из области польско-русских литературных и культурных связей. Под его руководством коллектив Института славяноведения ПАН подготовил библиографию польской русистики за наименее изученные послевоенные десятилетия (1945—1975) [6]. Одновременно ученый активно изучает вклад в славянскую компаративистику видных ученых прошлого и — что особенно важно — настоящего; пишет серию статей о Я. Бодуэне де Куртене, М. Здзеховском, П. Янчуке — знатоке истории и фольклора Подляшья, Белоруссии и Украины, многие годы изучавшем пограничные явления польской, русской, белорусской и украинской культур¹. Сохраняют научное значение также юбилейные и мемориальные статьи о видных компаративистах-литературоведах, историках, культурологах, языковедах: П. Зволинском, В. Хенселе, А. Галисе и др. В этом же ряду подготовленные Б. Бялокозовичем специальные выпуски журнала «Slavia Orientalis», посвященные юбилеям выдающихся славистов, — З. Штиберу (1978, № 2), А. Мировичу (1978, № 3), Л. Оссовскому (1980, № 1—2), М. Якубцу (1980, № 3), В. Хенселю (1978, № 3—4), П. Зволинскому (1984, № 3—4).

В заключительной мере благодаря усилиям Б. Бялокозовича в Институте славяноведения ПАН, на филологических факультетах польских университетов и высших педагогических школ в 70—80-е годы разворачиваются интенсивные исследования по многим направлениям польско-восточнославянских литературных связей. За эти годы под его непосредственным руководством выполнено около 30 кандидатских и докторских диссертаций по чрезвычайно широкому тематическому спектру. Поддержаны в форме рецензий, предисловий, редактирования сотни исследований и публикаций источниковедческого, историографического, контактного, типологического, методологического характера. Естественным следствием развернувшейся работы явилось создание Б. Бялокозовичем компаративистической серии [7]. С 1974 по 1988 гг. вышло одиннадцать томов². Совокупность опубликованных в серии работ представляет собою значительный вклад в изучение истории польско-русских, польско-украинских и польско-белорусских фольклорных, литературных и культурных связей с древнейших времен до наших дней.

Формулируя общую концепцию и задачи изучения польско-восточнославянских литературных связей, Б. Бялокозович постоянно указывает на объективную необходимость сопряжения усилий польской славистики со сравнительным литературоведением других стран. Он вводит в польское научное сознание творчество видных советских исследователей, публикуя статьи о них в «Wielkiej Encyklopedii Powszechnej» и в других энциклопедических изданиях, постоянно рецензируя советские литературоведческие труды, способствуя переводу ряда из них на польский язык, редактирует их, пишет вступительные статьи и комментарии (см. [8; 9]). Имели принципиальное значение его обзоры советских специализированных журналов: «Советское славяноведение», «Русская литература», «Филологические науки» (Доклады высшей школы), «Вестник Московского университета».

Итоговыми этой многогранной деятельности Б. Бялокозовича по введению в польский научный оборот советской славистики явились «Библиография советских работ в области польской литературы и ее связей с русской и другими литературами СССР» (Ч. I, 1917—1978, 369 с.; Ч. II, 1979—1988, подготовлена к печати) и уникальная по составу, характеру и значению литературоведческая антология [10]. В появившихся многочисленных откликах на этот труд (18 рецензий) отмечается удачный выбор имен и научных текстов, дающих в совокупности объективную картину изучения польской литературы с XVI в. до нашего времени в СССР; новаторский характер обширной вступительной статьи — первый в нау-

¹ См. статью Б. Бялокозовича «Николай Янчук как исследователь польско-восточнославянского пограничья», опубликованную в нашем журнале в 1989 г., № 5.— *Прим. ред.*

² Данная серия последовательно рецензируется в нашем журнале.— *Прим. ред.*

ке очерк истории русской (начиная с середины XIX в.) и советской полонистики, перечень полонистических центров, причем не только в РСФСР, но и в других республиках, направлений и итогов исследований; указывается на ценность вступительных информации (научное творчество ученого, основные работы, библиография) о каждом из сорока четырех авторов, включенных в антологию работ.

Усилия Б. Бялокозовича по соприращению опыта польской и советской славистики требуют всяческой поддержки и продолжения. Сегодня, может быть, острее, чем в недавнем прошлом выясняется недостаточность наших контактов в 60—80-е годы. Думаю, что необходима серьезная работа по восполнению упущенного в форме, например, тематических обзоров, перевода большего числа исследований, издания библиографий и, возможно, антологий; полезно здесь учесть опыт Б. Бялокозовича. Несоответствие между накопленным польской славистикой опытом и нашими представлениями о нем обнаружилось на ряде международных конференций, проведенных в 1988 г. в Польше: «Русская литература и ее международные связи» (Щецин, апрель), «Десять веков связей восточных славян с культурой Запада» (Люблин, октябрь), «Традиции культуры Киевской Руси» (Варшава, ноябрь), «Современные славянские литературы, их развитие и взаимные связи» (Варшава, декабрь). Речь идет не о многообразии идей, методологий, интерпретаций и т. д., всегда естественных и необходимых науке, тем более когда речь идет о национальных филологиях, но о недостаточном знании этого многообразия, достижений, уроков других, тормозящем исследования многих проблем. Так, довольно существенные и не всегда оправданные расхождения наших концепций истории польской литературы с историко-литературными построениями польских ученых затрудняют объективную интерпретацию ряда периодов и явлений в истории польско-русских литературных контактов: соотношение славянской и латинской культурных традиций; взаимоотношения А. Мицкевича и А. С. Пушкина в 1830-е годы; отношение Ф. М. Достоевского к Польше и польской культуре; взаимодействие польских и русских модернистских направлений конца XIX — начала XX в. и др. Следует также учесть опыт польской русистики в изучении этико-религиозных аспектов русской литературы, интерпретации творчества тех русских писателей, которые в разное время эмигрировали из СССР, истолкование ряда историко-литературных и теоретических вопросов художественного процесса советской эпохи.

Еще один аспект, на который хотелось бы обратить особое внимание и который организует всю проблематику рецензируемой книги, придает ей высокое общественное звучание — это глубокое убеждение в том, что компаративистические исследования не самоцель, что их инструментальное назначение — способствовать духовному обмену между народами. Отсюда теоретическая разработка Б. Бялокозовичем этого аспекта и постоянное его пропагандирование на национальных и международных конгрессах, в печати. В вошедшей в книгу статье [1, с. 190—225], как и в ряде других публикаций на эту тему, профессор указывает на исторические и социальные предпосылки польско-русского культурного сближения, существовавшие в прошлом и приобретшие после второй мировой войны характер межгосударственной политики; обнаруживает ведущие идеи, сообщавшие импульсы встречному движению польской и русской культуры: революционный лозунг «За вашу и нашу свободу», гуманизм классической литературы, социалистические революционные идеалы, ленинские призывы к братству между народами, — лучшее, что выработало социалистическое искусство. Важен также анализ опыта межгосударственного культурного обмена, высказываемые ученым рекомендации по его углублению.

Заслуживает внимания опыт самого автора, его неустанная работа по популяризации русской и советской литературы на страницах центральных и воеводских газет и журналов, где мы находим публикации о классиках и современных писателях — А. С. Пушкине, А. Герцене, Л. Толстом, А. Блоке, М. Горьком, М. Шолохове, В. Шукшине; о совет.

ско-польских литературных и культурных связях, советской полонистике, о содружестве культур, об истории польско-русских и польско-советских литературных связей. Необходимо учесть также редактирование и рецензирование произведений классической русской и советской литературы; анализы конкурсов популярности русских и советских писателей среди читателей Польши, обсуждение проблем переводов русской литературы на польский язык и польской на русский; заботу о распространении польской литературы в СССР; поддержку изданий польских авторов о России и СССР и антологий польской поэзии о нашей стране. Много сил Б. Бялокозович отдает теме «Польша и поляки в русской и советской литературе», справедливо усматривая в ней исключительные возможности воздействия на читателя. После серии разработок — изображение поляков в творчестве Л. Толстого, в русской поэзии на рубеже XIX—XX вв., в литературах народов СССР — Бялокозович выпускает уникальные по богатству художественного материала, добросовестности научного комментария и — главное — по общественному адресу издания: вызвавшие горячий отклик читателей и критики две антологии (см. [11; 12]) и подготовил антологию «Варшава в русской и советской поэзии».

Первая из них, озаглавленная строкой из стихотворения А. Одоевского «На весть о польской революции» «Звуки сокрушенных оков» включает 9 анонимных и 135 произведений 55 авторов; некоторые из них, например, стихи В. Щиглева, были найдены составителем, опубликованы и прокомментированы специально для данного издания; две трети стихотворений опубликованы на польском языке впервые. Библиографические справки и комментарий носят научный характер и дают сведения как об авторах, их произведениях, роли в общественно-литературной жизни эпохи, переводах на польский язык, так и создают, по удачному определению М. Хаецкой и Л. Язукевич-Оселковской, «микроструктуру» обширной области «функционирования польской темы в разнообразных ее проявлениях, формах, вариантах и аспектах в русской поэзии 1795—1917 гг.» [7, т. X, с. 116].

Такие сведения, как история создания произведения, указания на первопечатный или архивный источник, опыт изучения, функционирования, восприятия и толкования текста и т. п. в совокупности образуют исключительный по полноте и значению справочник. Обширное предисловие Б. Бялокозовича представляет собой глубокое обобщающее исследование польско-русских литературных, культурных и общественно-политических связей за взятый более чем 120-летний период. Сквозная идея великодушного издания, обращенного в равной мере и к ученому, и к массовому читателю, глубоко патристична. «В сознании самых благородных русских умов Польша как мощное историческое, культурное и цивилизованное явление никогда не была стерта с карты мира, об этом, кроме прочего, убедительно свидетельствует русская художественная литература. Польша и ее история, наука, культура и искусство, а также движение за независимость находили отражение в русской литературе и соответственно моделировали сознание русского общества в так называемом „польском вопросе“. С течением времени в русских передовых кругах, особенно в революционно-демократических программах „польский вопрос“ оказался такой проблемой, которая должна была разрешиться в согласии с высокими гуманитарными принципами в интересах всеобщего прогресса во имя взаимного уважения, суверенитета и конструктивного сотрудничества» [11, с. 5].

Сегодня крайне важен самый принцип и пример соединения теоретической и просветительско-прикладной деятельности, организуемой высшей идеей духовного общения народов. Принцип этот в наши дни приобретает верховное значение по двум причинам: во-первых, все яснее обнаруживается известный герметизм академической науки; во-вторых, с наименьшей очевидностью возрастает убежденность, что духовный обмен между народами в нынешних условиях своеобразного взрыва национального самосознания, как никогда, должен опереться на глубокие научные изыскания, обобщения и рекомендации. Настойчивая работа в этом на-

правления профессора Б. Бялокозовича, многообразно аргументированная им в статьях рецензируемого сборника, отражает характерные тенденции и задачи современной компаративистики: стремление польской и советской сторон создать совместные структуры, в рамках которых процессы теоретического осмысления и практического осуществления советско-польского научного и культурного обмена были бы объединены и адекватны по глубине и динамичности происходящим бурным процессам социально-политического и духовного обновления. Об этом шла речь на Варшавской встрече в мае 1988 г. руководителей академических институтов социалистических стран и на проведенном ее участниками и Варшавским филиалом Института русского языка им. А. С. Пушкина международной конференции «Перестройка и литература».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бялокозович Б.* Родственность, преемственность, современность. О польско-русских и польско-советских литературных связях. М., 1988.
2. *Białokozowicz B.* Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki literackie jako problem badawczy.— In: *Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria*, t. I, Wrocław, 1974, s. 7—49.
3. *Białokozowicz B.* Lwa Tolstoją związki z Polską. Warszawa, 1966.
4. *Białokozowicz B.* Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związkw literackich w XIX w. Warszawa, 1971.
5. *Literatura Rosyjska. T. I—II.* Warszawa, 1970—1971.
6. *Bibliografia Rusycystyki Polskiej. 1945—1975.* Literaturoznawstwo. Pod red. B. Białokozowicza. Warszawa, 1976.
7. *Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria*, t. I—XI/ Pod red. B. Białokozowicza. Wrocław, 1974—1988.
8. *Historia rosyjskiej literatury radzieckiej / Pod red. P. Wychodcewa. Przedm. B. Białokozowicza.* Warszawa, 1977, s. 5—49.
9. *Gorski I.* O Sienkiewiczu i Wiesiełowskim. Sł. wstępne B. Białokozowicza. Warszawa, 1986, s. 5—17.
10. *Polonistyka radziecka. Literaturoznawstwo.* Warszawa, 1985.
11. *Dźwięki kruszonych oków. Polska w poezji rosyjskiej lat 1795—1917. Wyb., opr. i przedm. B. Białokozowicza.* Warszawa, 1977.
12. *Jak unieść wierszem Twoją chwałę. Polska w poezji radzieckiej. Wyb. i wst. B. Białokozowicza.* Łódź, 1977.



КУЗЬМИН М. Н.

СЛОВАЦКИЙ КОМЕНИОЛОГ ЯН РОДОМИЛ КВАЧАЛА — ПРОФЕССОР ЮРЬЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Приближается 400-я годовщина со дня рождения великого чешского социального мыслителя и общественного деятеля Яна Амоса Коменского (1592—1670). Выдающийся представитель научной революции XVI—XVII вв., Коменский был одним из строителей современной научной картины мира, общества и человека. Постижению зависимости общества от человека и его воспитания было посвящено многогранное научное творчество ученого — он оставил после себя фундаментальные работы по философии и геополитике, науковедению и педагогике, психологии и лингвистике.

Коменский как педагог и теоретик науки стал широко известен еще при жизни. Вместе с тем, в своем творчестве он далеко вышел за рамки идей своего времени. Европейское общественное сознание впоследствии неоднократно открывало его для себя — в XVIII в. как предтечу просветительства, в XIX в. как педагога-теоретика, в XX в. как социального философа.

В России использование творческого наследия Коменского шло со значительным, сравнительно с другими европейскими странами, опозданием. Хотя эпизодическое использование отдельных его учебников зафиксировано у нас уже в конце XVII в., в целом открытие педагогической системы Коменского, широкое знакомство с его наследием началось лишь с этапа буржуазных реформ 60-х годов XIX в., с развитием гражданского общества.

В становлении комениологии в России, в развитии русской и европейской комениологии в конце XIX — начале XX в. огромную роль сыграл Ян Родомил Квачала — словак по происхождению, 27 лет проработавший в России, в 1893—1918 гг. — профессор Юрьевского университета. В настоящей статье ставится задача осветить обстоятельства приезда Я. Квачалы в Россию и его работы в Юрьеве.

Сам факт появления Я. Квачалы в Юрьеве связан с существовавшей в европейских и русских университетах практикой приглашения зарубежных профессоров в преподавательский корпус. Среди российских университетов XIX в. особенно выделялся в этом отношении Дерптский университет, что объяснялось особыми обстоятельствами.

Учрежденный в 1802 г. императором Александром I на месте существовавшей в Дерпте в 1632—1711 гг. шведской Академии Густавианы, Дерптский университет был создан по инициативе и для нужд местного немецкого остзейского дворянства. Поэтому он был организован как немецкое высшее учебное заведение — с немецким языком обучения и делопроизводства (с весьма либеральным к тому же Уставом и внутренней организацией). В этом заключалось его важное отличие от других университетов России. Оно делало возможным непосредственную взаимосвязь между

Кузьмин Михаил Николаевич — канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

ним и германскими университетами, использование сильного потенциала немецкой науки.

Специфической чертой Дерптского университета, отличавшей его от остальных российских университетов, была организация в его составе помимо четырех обычных светских также и теологического факультета: факультет евангелического богословия должен был централизовать подготовку протестантских пасторов для нужд всей Российской империи.

Итак, поскольку это был немецкоязычный университет, находившийся в локальной немецкой культурной среде, то для профессуры Германии и Австрии не существовало никаких языковых или культурных барьеров для занятия мест в его преподавательском корпусе. Поэтому в первой четверти XIX в. приглашенная из-за рубежа (в основном из Германии) профессура составляла более половины (54%) его преподавательского корпуса. Эффект от этого был настолько значителен, что в 1828 г. при Дерптском университете был организован так называемый Профессорский институт, который на протяжении 10 лет готовил к профессорскому званию воспитанников других российских университетов. (Среди последних только Виленский и Московский имели солидную традицию. Остальные были молодыми высшими школами, организованными в начале XIX в.)

В последующем, однако, доля зарубежной профессуры существенно снизилась — прежде всего из-за трений с местной консервативной партией. (В качестве примера можно назвать создателя клеточной теории М. Я. Шлейдена, который по этой причине смог пробыть в университете всего один сезон.) В последней четверти XIX в. эта доля составляла уже менее 20%. Университет начал терять свое значение авторитетного научного центра, связующего немецкую и русскую науку [1, с. 74, 82].

Это обстоятельство отметила ревизия сенатора В. Манассейна, осуществлявшаяся в Прибалтийских губерниях в 1882—1883 гг. Сенатор пришел к выводу, что если в начале XIX в. Дерптский университет выступал посредником между научной мыслью Западной Европы и России, то теперь он утратил свою ведущую роль. Не выполнял университет своей миссии и в удовлетворении потребностей местного населения (т. е. эстонцев и латышей) в высшем образовании. Он фактически превратился в опорный пункт остзейских немцев, препятствующий консолидации губерний с другими областями страны. Исправить сложившуюся ситуацию мог бы, считал В. Манассейн, перевод Дерптского университета на русский язык преподавания, что соответствовало бы общегосударственным интересам и целям консолидации и русификации края [1, с. 89].

В 80-е годы XIX в. в Прибалтийских губерниях была осуществлена серия реформ буржуазного содержания, в их числе и реформа университета: из немецкого Дерптского университета он был преобразован в русский Юрьевский университет. (В 1893 г. Дерпт был переименован в Юрьев — так был назван город при его основании в 1030 г. киевским князем Ярославом Мудрым.) Новым ректором, который должен был довести до конца начатую реорганизацию, стал славист А. Будилевич (1892), известный своими ультраконсервативными взглядами.

Русификация университета привела к тому, что в 1889—1900 гг. его по разным причинам оставили 35 из 40 немецких профессоров, 19 из них возвратились в Германию. Из 5 вновь прибывших в эти годы зарубежных ученых 4 также возвратились назад [1, с. 132]. Пятым был Ян Квачала. С другой стороны, реорганизация университета в корне подорвала определяющее влияние в его делах местной немецкой профессуры и прибалтийского дворянства. Эти круги не приняли реформы. В печати возникла весьма острая полемика между предпоследним немецким ректором профессором А. Эттингеном и первым русским ректором профессором А. Будилевичем.

В особом положении оказался после реформы Богословский факультет. Он, естественно, сохранил немецкий язык преподавания, осталась неизменной и вся его внутренняя структура, вся расстановка сил, характеризовавшаяся засильем местной немецкой партии. Можно сказать, что лишь для этого факультета как будто вообще ничего не изменилось.

Такова была ситуация в Юрьевском университете, когда в 1893 г. молодой профессор Евангелического лицея в Братиславе, доктор философии (Лейпциг, 1885) и теологии (Вена, 1893) Ян Квачала, незадолго до того обретший широкую известность в научном мире своей работой «Johan Amos Comenius. Sein Leben und seine Schriften» (Berlin — Leipzig — Wien, 1892), изданной к 300-летию со дня рождения великого славянского мыслителя и педагога, получил приглашение ректора А. Будиловича стать профессором Богословского факультета этого университета.

В современной литературе это приглашение объясняется научными интересами А. Будиловича как слависта. Будучи знаком с названной работой Я. Квачалы, он запросил об авторе своих словацких друзей и получил благоприятный ответ [2].

Нам представляется, однако, что славистические симпатии нового ректора — лишь одна сторона дела, причем не главная. Главная же причина, как видно из вышеизложенного, заключалась в том, что А. Будиловичу нужно было что-то противопоставить местной партии на оставшемся немецким Богословском факультете.

И действительно, как показали последующие события, приход Я. Квачалы не остался бесследным: он, если и не изменил кардинально положение на факультете — новый профессор вынужден был противостоять местной партии в одиночку, — то, во всяком случае, лишил ее прежней монополии и покоя. Как убедительно свидетельствуют протоколы заседаний факультетского Совета, на протяжении более двух десятилетий, из года в год буквально по каждому серьезному вопросу Я. Квачала выступал против рутинных решений, зачастую, впрочем, оставаясь в единственном числе.

В качестве весьма характерного и интересного примера можно указать на выдвинутый им в связи с обсуждением в 1905 г. нового общего Устава российских университетов проект глубокого изменения структуры Богословского факультета. К имеющимся 5 кафедрам (Ветхого завета, Нового завета, исторического, систематического и практического богословия) Я. Квачала предложил добавить еще 4: реформатского систематического богословия, практического богословия на эстонском языке, практического богословия на латышском языке, реформатского или практического богословия на польском языке [3]. Естественно, этот проект, разбивавший немецкую гомогенность и монополию на Богословском факультете, факультетским Советом был решительно отклонен.

Идея реорганизации Богословского факультета в интересах местного эстонского и латышского населения созрела у Я. Квачалы значительно раньше. Об этом, в частности, свидетельствует его письмо академику В. И. Ламанскому от 11 X 1897 г., в котором он пытается убедить своего адресата публично выступить против журнала «Вестник Европы», отрицательно высказавшегося в полемике по этому вопросу¹. Корни этой демократической позиции Я. Квачалы просматриваются в его гимназических и студенческих годах: в венгерских средних и высших учебных заведениях проявление любого национального духа, кроме венгерского, решительно преследовалось. И попавшему тогда в «черные списки» словяку Я. Квачале пришлось убедиться в этом на собственном опыте [5].

Я. Квачала проработал профессором исторического богословия в Юрьевском университете 25 лет. Основным его занятием все эти годы было чтение лекционных курсов: история церкви, церковь и школа в их взаимоотношениях с эпохи Реформации, церковное искусство [6]. Одновременно Я. Квачала интенсивно занимался научной деятельностью, часто выезжая для изучения архивных и рукописных фондов в Петербург и Москву, Вильно и Ригу, в длительные зарубежные поездки. В 1908 и 1913 гг. вместе с Е. В. Тарле и В. Э. Грабарем он принимал участие в Международных исторических конгрессах [7].

¹ Публикацию письма см. в [4].

В центре его научных интересов стояло весьма интенсивное и плодотворное исследование жизни и деятельности основоположника педагогической науки нового времени Я. А. Коменского. В 1898—1902 гг. Я. Квачала издает двухтомную документальную публикацию «Korrespondenz Jana Amosa Komenského» (Praha, 1898, 1902); в 1899 г. — переписку между внуком Коменского Д. Е. Яблонским и Г. В. Лейбницем («Neue Beiträge zum Briefwechsel zwischen D. E. Jablonsky und G. W. Leibniz». Jurjew, 1899). В начале 1900-х годов выходит его двухтомная работа «Die pädagogischen Reform des Comenius in Deutschland bis zum Ausgange XVII. Jahrhunderts» (Berlin, 1903—1904). В эти же годы Я. Квачала принимает предложение Союза Моравских учителей возглавить в качестве ответственного редактора издание Полного собрания сочинений Я. А. Коменского и Архива по исследованию его жизни и творчества.

В 1908 г. в «Сборнике в честь 50-летия научной деятельности академика В. И. Ламанского» Я. Квачала публикует работу «Кризис веры у Я. А. Коменского и А. Мицкевича»; в 1909 г. в Записках Юрьевского университета — новые источники о Коменском («Annalecta Comeniana»), а в канун войны — труд «J. A. Komenský. Jeho osobnost a jeho sustava vedy pedagogickej» (Martin, 1914) [8].

Комениологические исследования Я. Квачалы вызвали большой интерес в русских научных кругах. Это объяснялось не только усилением внимания к творчеству великого славянского педагога в 90-е годы, сопутствовавшим празднованию его юбилея, но и потребностями развития педагогической теории в России. Прогрессировавшее развитие капитализма, формирование гражданского общества, как и везде, выступало мощным стимулом развития образования и науки о воспитании свободной личности.

Как показал в своих исследованиях известный знаток судеб наследия Я. А. Коменского в России А. Чума [9], Я. Квачала довольно быстро после приезда в Россию установил тесную связь с основанным Л. Н. Модзалевским «Обществом Я. А. Коменского», действовавшим на правах Отдела Педагогического музея Главного управления военно-учебных заведений в Петербурге. (Общество имело контакты с «Comenius Gesellschaft» в Берлине и обществом «Comenion» в Праге.)

В 90-е годы XIX в. Я. Квачала — настолько, насколько это было возможно, живя в Юрьеве — принимает постоянное участие в деятельности Общества — выступает с сообщениями по результатам своих исследований Коменского². Наряду с этим постоянно публикует свои работы в Записках императорского Юрьевского университета, в Журнале Министерства народного просвещения, в других изданиях.

В 900-е годы внимание Я. Квачалы привлекает творчество итальянского мыслителя Томмазо Кампанеллы, он выпускает ряд исследований, посвященных его жизни и деятельности: «Послание Т. Кампанеллы к великому князю Московскому» (Юрьев, 1905); «Th. Campanella, ein Reformator der ausgehenden Renaissance» (Berlin, 1909); «Protestantische gelehrte Polemik gegen Campanella vor seine Haftentlassung» и «Über die Genese der Schriften Thom. Campanellas» (Юрьев, 1909 и 1911 гг.) [11].

За результаты своей научной деятельности Я. Квачала был избран почетным членом Общества по истории протестантизма в Австрии, удостоен Петербургской Академией наук премии А. Котляревского [12].

В 1916 г., после перевода Богословского факультета на русский язык обучения, Ян Квачала становится деканом этого факультета. В 1918 г. — после реорганизации германскими оккупационными властями русского Юрьевского университета в немецкий Дерптский вместе с русскими преподавателями университета он эвакуируется в Воронеж, откуда в 1920 г. возвращается в Братиславу.

² Библиографию изданий Отдела Я. А. Коменского Педагогического музея военно-учебных заведений за 1890—1900 гг. см. [10].

Тема «Ян Квачала и русская наука» безусловно еще ждет своего раскрытия. Но и сейчас можно высоко оценить роль Я. Квачала в развитии комениологии в России в конце XIX — начале XX в., тем самым в становлении той традиции, без которой немислимо себе представить развитие советской комениологии и советской педагогики после 1917 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. История Тартуского университета. 1632—1982. Таллинн, 1982.
2. *Mátej J. Portrety slovenských pedagógov a vlasteneckých učiteľov.* Bratislava, 1977, s. 85.
3. ПГИА ЭССР, ф. 402, оп. 9, д. 744, л. 23—25.
4. *Petrus P. Z korešpondencie J. Kvačalu s ruskými autormi.*— In: Sbornik. Filozofická fakulta Univerzity P. J. Safárika v Prešove. Roc. VI. Bratislava, 1966, s. 151, 152.
5. *Štrba J. Slovenský komeniolog Ján Kvačala.*— *Historický časopis*, 1964, № 3, s. 382.
6. Обзорение лекций в императорском Юрьевском университете. Юрьев, 1893—1918.
7. *Tartu ülikooli ajalugu.* Т. II. 1798—1918. Tallinn, 1982, lk. 344.
8. *Mátej J. Jan Kvačala — významná osobnosť dejín pedagogiky a komeniologie.*— *Pedagogika*, 1987, № 6, s. 698—705.
9. *Čuma A. Prinos Jana Kvačalu pre rozvoj ruskej komeniologie.*— *Jednotna škola*, 1980, № 2, s. 159—171.
10. *Коменский Я. А.* Избранные педагогические сочинения. В двух томах. Т. 2. М., 1982, с. 567—568.
11. *Kivimäe J. Tartu ülikooli professor Jan Kvačala Tommaso Campanella uurijana.*— In: *Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.* Т. XVI. Tartu, 1985, lk. 122—133.
12. Библиографический словарь профессоров и преподавателей императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета. Т. I. Юрьев, 1902; *Mátej J. Jan Kvačala (Život a dielo).* Bratislava, 1962.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

Балто-славянские исследования...: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Топоров В. Н. М., 1989, 253 с., 1 л. портр.

Бумболов Л. Българският роман между двете световни войни. София, 1989, 205 с. Вечна жыбое «Слова»: Зб. матэрыялаў навук. канф. «Слова пра паход Ігаравы» — выдатны літ. помнік. усходнеслав. культуры / Склад. Мархель У. I. Мінск, 1989, 175 с.

Диневков П. Проблеми на старата българска литература. София, 1989, 438 с.

Зазаржевська В. О. Українсько-болгарські літературні взаємини ХХ ст.: (В іст. динаміці літ. процесу). Київ, 1989, 271 с.

Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод / Отв. ред.: Булатова Р. В., Дыбо В. А. М., 1989, 303 с.

История мировой славистики: указ. лит... / Отв. ред. Калоева И. А. М., 1990, 84 с.

Категория посессивности в славянских и балканских языках. Ин-т славяноведения и балканистики. М., 1989, 262 с.

Кодак Н. Ф. Книга и книжная культура славистических исследований. Науч.-аналит. обзор. Киев, 1989, 42 с.

Коледаров П. Политическа география на средновековната българска държава. Ч. 2. 1186—1396. София, 1989, 159 с.

Милетич Л. Източно-българските говори. София, 1989, 192 с.

Пернишка Е. Лексикалните синоними в художественния стил. София, 1989, 125 с. Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы / Отв. ред. Поп И. И. М., 1989, 155 с.

Радеев С. Българистика, българознание, наука за България. София, 1989, 270 с. Развитие связей между СССР и СФРЮ в области культуры, 1976—1985. Библиогр. указ. / Сост. Егорычева Н. Н. и др.; Науч. ред. Зеленин В. В. М., 1989, 256 с.

Регионални проучвания на българския фолклор / Бълг. акад. на науките. Ин-т за фолклор. София, 1989; Т. I. От Тимок до Искър. / Отг. ред. Тодоров Т.; 223 с., 24 л. ил. Т. 2. Фолклорната традиция на Славенския край / Съст. Демирев В., Иванова Р.; 163 с., нот., 12 л. ил.

Русско-сербские литературные связи, XVIII — нач. XIX века / Беляева Ю. Д., Доронина Р. Ф., Достян И. С. и др. М., 1989, 229 с.

Труды Отдела древнерусской литературы / Отв. ред. Лихачев Д. С. Л., 1989. Т. 42. 464 с., ил. Библиогр. с. 456—460.

Франциск Скорина — белорусский гуманист, просветитель, первопечатник: Сб. науч. тр. Минск, 1989, 205 с., ил.

Фридман М. В. Идеино-эстетические течения в румынской литературе XIX—XX вв.: К пробл. преемственности. М., 1989, 304 с.

Хрестоматия по истории южных и западных славян, в 3-х т. Минск, 1989. Т. 2. Новая история, 295 с., ил.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ БИБЛИОГРАФ В. Г. АНАСТАСЕВИЧ

Радетелем и пропагандистом русско-польской дружбы был библиограф Василий Григорьевич Анастасевич (1775—1845), нареченный в Варшаве *петербургским поляком*. После неудачи восстания декабристов он жил скудно, одиноко. Три просторные комнаты в большом столичном доме были заставлены книжными шкапами, столами с кипами бумаг, картонками, набитыми неразборчиво исписанными полосками промокашки. Начатый им гигантский свод журнальных статей остался незавершенным. Единственное его достояние — журналы, книги, бумаги — после его смерти были свалены в сарай. Имущество бескорыстного труженика пролежало двадцать лет и было продано малярам по 30 копеек за пуд. Случайно узнавшему о распродаже сотруднику Петербургской публичной библиотеки (ныне им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) удалось кое-что спасти — автобиографию, дневник, письма Анастасевича, который пробовал свои силы также в переводах и журналистике.

Его детство и юность прошли в Киеве. Отец, мелкий собственник, настоял на поступлении в духовную академию. Не закончив ее, занялся репетиторством. Не оправдалась надежда поступить в Московский университет. Позже Анастасевич служил в армии, но вышел в отставку, написав дарю о казнокраде — командиру полка, родственнику временщика Аракчеева. Он повидал народное горе, исколесив юг России в должности секретаря ревизора, позднее попал в Петербург. Служил в Министерстве просвещения в комиссии составления законов, членом которой перед тем был Радищев; подружился с последователями писателя-революционера, сотрудничал в русских и польских журналах.

Анастасевич знал десять языков, особенно хорошо — польский. Он переводит и печатает в Петербурге руссоистский политэкономический трактат ректора Виленского университета Иеронима Стройновского, запрещенный в польских учебных заведениях. Переводит и, одновременно с трактатом, издает в Вильно (1809) антикрепостническое сочинение брата ректора, Валериана Стройновского — «О условиях помещиков с крестьянами». Книгу раскупили, всем на удивление, крестьяне. «Автора и переводчика надо бы повесить...» — завопили помещики [1]. Особую ярость вызвало предисловие «От переводившего», в котором Анастасевич открыто требовал освобождения хлебопашцев. Оно оказалось острее самой книги, и перепуганный автор обратился к петербургскому генерал-губернатору с покаянным письмом, назвав предисловие «неприличным» и «непозволительным». Более того, обвинил Анастасевича в... обмане полиции [2, с. 56].

Свободомыслящего литератора спасло заступничество князя Чарторьского, у которого он служил, дружившего с царем, возглавившего позже польское повстанческое правительство.

России и Польше посвящен журнал «Улей», который Анастасевич выпускал накануне Отечественной войны 1812 г. Заглавие символизировало призвание библиографов — собирать лучшее в литературе. Оно сопоставимо с изображением улья и пчел на печати декабристского Союза благоденствия. Журнал пропитан освободительными идеями. С его страниц малого формата выносился приговор крепостничеству и самодержавию.

Ты их тиранил,
Ты их зорил,
Ты их изранил,
Ты кровь их пил,

— клеймил помещика крепостной Иван Варакин и отправлял «злодея» в ад [3, 1812, ч. III, № 13, с. 50].

Самобытный, но мало учившийся поэт нередко печатался в «Улье» и смело предсказывал вместе с редактором-издателем:

Царские троны
С шумом падут.
Скиптры, короны
В прахе гниют.

[3, 1812, ч. IV, № 22, с. 305].

В программу журнала входили русская и польская словесность, «известия о жизни и трудах писателей российских и польских», «исторические отрывки и замечания при свode наших историков с польскими, яко сподвижниками на едином поприще...» [4]. Постоянно знакомя русских читателей с польскими литераторами, Анастасевич с уважением пишет о блестящем сатирике, обличителе аристократов, выдающемся польском историке XVIII в. А. Нарушевиче и печатает отрывки из его сочинений.

Журнал являлся «подражанием и дополнением опытов Новикова» — зачинателя русской литературно-критической периодики, составителя оригинального словаря писателей. Великий просветитель и книгоиздатель был продолжателем идей Ломоносова в библиографии. Анастасевич подхватил и развил начинания обоих.

Его классическая статья «О библиографии» была продолжением и традиции парижских книжников эпохи Великой Французской революции. «Извлечь из множества книг содержание и дать об них суд...» — вот главная цель библиографа. Типографский станок создал богатство духовной пищи и вызвал «необходимость выбирать при таковом изобилии полезнейшие плоды...» [3, 1811, ч. I, № 1, с. 14—21]. Предназначение библиографии — «путеводительницы и наставницы» — возбуждать любовь к разумному чтению даже у тех, кто «или сплошь читают — или ничего не читают», — писал Анастасевич, предвосхищая призыв Писарева разбудить «сонных читателей». Она помогает человеку, склонному уподобляться «однодневному насекомому» и рассматривать свою персону «в микроскоп», открыть для себя большой мир, она распространяет истину, содействует рождению «великих дарований и великих добродетелей».

Критическое обобщение — суть библиографии, которую Анастасевич называет «сокращенною библиотекою, систематически представляющею ученые труды» (вспомним ломоносовские «сокращения» книг и диссертаций [5, т. 10, с. 31]). Здесь четко сформулировано требование систематизации материалов печати.

Библиография «соделалась отраслью человеческих познаний и наук о ней тем важнейшею, что она вещественно заключает в себе все прочее; ибо прочие содержатся в книгах». Библиография «позволяет узнать всеобщее состояние и в особенности каждую степень наук».

Вслед за Ломоносовым Анастасевич указывает на рекомендательное назначение библиографии, имеющей «премногие пользы и выгоды не только для посвятивших себя ученому состоянию, для коих она необхо-

дима, но и... в чтении книг...». Ведь первый русский академик считал, что главная ее цель — «быстрее распространять в республике наук сведения о книгах», а его ученик Теплов видел в ней «прямое руководство в науках и в чтении многих книг» [5, т. 3, с. 218; 6].

Важной была дефиниция Анастасевича: библиография — «наука знать книги», позволяющая собрать «под одну точку зрения» продукцию типографий, и, таким образом, «судом своим предохранять других от обмана по пышным только названиям книг». Иначе говоря, критический анализ содержания оказывался основным в библиографии.

Понимая ее как «сверстницу» и «чадо повременных изданий», Анастасевич собирал журнальные статьи, могущие на первых порах, по его мнению, заменить «критическое обозрение». Очень важно также, что таким образом устанавливалась связь между библиографией и журналистикой.

Продолжая свою мысль в статье «О необходимости в содействии русскому книговедению», самозабвенный библиограф писал, что журналы «сделались у нас как бы пакгаузами нашей словесности» [7, с. 37]. Поэтому «желательно, чтоб по крайней мере лучшие статьи... извлечены были из довольно просторного журнального кладбища» как «необходимое руководство к полезному употреблению сочинений» [7, с. 39]. «При недостатке у нас исключительно критического обозрения российских книг, оно составилось бы из многих сего рода статей» [7, с. 42].

Это, конечно, принципиально важно, но все же — частность. Главное — свобода тиснения! — провозглашал Анастасевич в статье «О книгопечатании»: Повсюду, где эта свобода сужена, невежество, как глубокая ночь, объемлет все умы. Нельзя препятствовать развитию типографий.

Под благовидными предлогами «лицемерие и тиранство» не устают «заграждать уста просвещенным людям», незаконно побуждают к молчанию. Обывателям ненавистна истина, и они нашептывают государям, что просвещение сродни мятежу. Но к возмущению ведет не просвещение, а несправедливость — пронизательно замечает Анастасевич. «Я раздражаюсь только тогда, если меня несправедливо лишают собственности... жизни... свободы. Тогда и раб восстает против господина...» [3, 1811, ч. I, № 3, с. 208—213].

Подобные идеи были крайне смелыми в то время да и позже.

Анастасевич выступает за общественное обновление, носителем которого в немалой степени является книгопечатание. В противном случае, происходит «закоснение в душах и умах. Народ, по образу своего правления, или по неспособности своих правителей дошедший до такового состояния, делается заматерелым для рождения великих дарований и великих добродетелей». Активно патриотической была теория и практика «науки знать книги» в руках издателя «Улья». С полным основанием он писал: «Один чужелюб, один пасынок отечества может сказать, что у нас нечего описывать (в библиографическом плане.— М. И.); сыну оного ничто должно быть милее чужих сокровищ. Отечества и дым приятен!» [3, 1811, ч. I, № 3, с. 26].

Мечту Ломоносова об обозрении всех «выданных по сие число книг» выполнил В. Сопиков, создатель пятитомного «Опыта российской библиографии», вместившего все изданное в России до начала XIX в., питавшийся теми же идеями, что и В. Анастасевич.

Исходя из критического принципа, Сопиков приводит «выписки» — цитаты: «Если сии выписки и не могут заменить самых книг... то подадут... об оных достаточное понятие» [8]. Библиография — не голый перечень заглавий и выходных данных, не только регистрация печатной продукции, но и оценка и рекомендация.

Критический принцип — основа теоретической части «Опыта», открывающих его томá «предъведомлений» — предисловий. Говорили, что их написал Анастасевич, хотя, возможно, и другое — единомыслие с ним Сопикова.

Три тома «Опыта российской библиографии» отрецензировал в журнале «Вестник Варшавы» филолог Б. Линде, чей фундаментальный словарь

польского языка был положительно оценен ранее в «Улье». Анастасевич тотчас перевел благожелательную статью. Он завершил также труд, не оконченный Сопиковым.

В годы подготовки восстания декабристов Анастасевич становится действительным членом Вольного общества любителей российской словесности. Как и декабристы — писатель А. Бестужев-Марлинский, историк А. Корнилович, он избирается «цензором (редактором.— М. И.) библиографии» [2, с. 110] издательского комитета и печатного органа «любителей словесности». Он открывает оригинальную рубрику «Современная польская библиография» в популярнейшем, передовом тогда еженедельнике «Сын отечества». Издатель «Литературной газеты» Дельвиг почтительно говорит о нем: наш «единственный путеводитель» [9].

В 1820 г. Анастасевич выпускает трехтомную систематизированную «Роспись» публичной библиотеки издателя и книгопродавца Плавильщикова, затем пять ежегодных к ней «Прибавлений», можно сказать, летописей печати. Подробнейший указатель увеличивал ценность необычного пособия, принесшего немалую пользу читателям.

Это последняя крупная работа Анастасевича, оставшегося в годы николаевской реакции не у дел, без средств. Ему, возражавшему против свирепой цензуры, пришлось поступить в цензурное ведомство, так как других вакансий не было. Однако он остался верен своему девизу — содействовать «искавшим свободы»: разрешил печатать поэму «Конрад Валленрод», воспевавшую борца за национальную независимость, и двухтомник Мицкевича, высланного с родины в Петербург. По его совету великий польский поэт написал «оградительное» предисловие.

Современник назвал Анастасевича «самым мягким, самым лучшим из цензоров». Иного мнения придерживался Булгарин. «В новой цензуре у меня есть личный враг...» — плакался бездарный, пользовавшийся незавидной известностью литератор-агент [10].

Анастасевича уволили без пенсии. «Я тверд в своих идеях», — отчетливо сказал он перед кончиной [11]. Отмечая 145-ю годовщину со дня его смерти, мы высоко оцениваем благородные устремления заметного деятеля отечественной культуры, стремившегося продвинуть книгу в массы, сблизить русский и польский народы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Семевский В. И.* Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в. Т. I. СПб., 1888, с. 300.
2. *Брикман М. А.* В. Г. Анастасевич. М., 1958.
3. Улей.
4. *Замков Н. К.* «Улей». Журнал В. Г. Анастасевича. 1811—1812. Septum bibliologicum в честь... проф. А. М. Малеева. Пб., 1922, с. 46.
5. *Домонос М. В.* Польск. собр. соч. М.-Л., 1951—1957.
6. *Домонос М. В.* Избранные философские произведения. М., 1950, с. 517.
7. Благонамеренный, 1820, ч. 10, № 7.
8. Опыт российской библиографии. Ч. 3. СПб., 1815, с. 1.
9. *Дельвиг А. А.* Сочинения. СПб., 1895, с. 156.
10. *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 2. СПб., 1889.
11. *Здобнов Н. В.* История русской библиографии до начала XX в. М., 1951, с. 155.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

ДВА МНЕНИЯ ОБ ОДНОЙ КНИГЕ

(Славяноведение в дореволюционной России.
Изучение южных и западных славян. М., 1988, 414 с.)

В 1988 г. под грифом Института славяноведения и балканистики АН СССР вышел из печати коллективный труд, в котором впервые была предпринята попытка всесторонне осветить историю развития славяноведческой науки в России на протяжении более трех веков — с конца XVI в. до 1917 г.

Решая эту непростую и многоплановую задачу, авторский коллектив, состоящий из авторитетных историков, лингвистов и литературоведов, работающих в различных исследовательских и учебных учреждениях страны, преследовал цель облегчить современным ученым-славистам работу по сбору фактического материала, накопленного дореволюционной наукой, помочь ориентироваться в теоретических построениях различных учений, школ и направлений, существовавших в славяноведении XVIII — начала XX в. (с. 4)

При знакомстве с рецензируемой книгой складывается весьма благоприятное впечатление о ней. На наш взгляд, авторы разделов в основном правильно определили хронологические границы основных этапов развития науки в целом, достаточно полно раскрыли события в пределах этих границ, интересно и со знанием дела осветили вопросы, связанные с организацией изучения славяноведческих дисциплин в академии и учебных заведениях России; в основном верно, но не для каждого периода в равной мере, прослеживается взаимосвязь нарастания или спада интереса общественности России к судьбам зарубежных славян и научных кругов к их истории, культуре, языку, литературе. С нашей точки зрения, следовало бы акцентировать внимание на том, что накануне войн России, например, с Турцией, как правило, значительно возрастал и интерес ученых к судьбам бал-

канских славян, заметно увеличивалось число научных трудов на эту тему. В данной связи обращает на себя внимание еще одна неравномерность в освещении разработки исторической проблематики. При характеристике этапов становления и развития исторической дисциплины уделено, как нам показалось, значительно большее внимание разработке истории западных славян. Характеристика научной деятельности русских историков, занимавшихся изучением истории южных славян, часто ограничивается лишь упоминанием одной или двух написанных ими работ (с. 246), а такие известные историки, как Н. Ф. Дубровин, А. Н. Петров, Н. Р. Овсяный, В. А. Уляницкий, исследовавшие проблемы национально-освободительного движения южных славян и издавшие ряд важных документов на эту тему, в основном тексте книги не упоминаются вообще.

При рассмотрении факторов, оказавших влияние на становление и развитие славяноведческой науки, остался нераскрытым один очень важный, на наш взгляд, вопрос — влияние философских и историко-правовых учений конца XVIII — первой половины XIX в. на формирование школ, направлений и течений в славяноведении. Авторы разделов в ряде случаев признают влияние философских концепций Г. Гегеля и Ф. Шеллинга (с. 67), морально-этических доктрин немецких романистов, французской общественно-политической литературы первой половины XIX в. (с. 75) на формирование русского дореволюционного славяноведения, но, к сожалению, не раскрывают до конца характера этих влияний. Л. П. Лаптева, например, справедливо заметила, что русские славянофилы заимствовали из немецкой философии тезис «об априорно присущем каждому народу на-

чале (или идее), раскрытие которого (которой) и составляет якобы содержание истории народа» (с. 226). Однако при этом она не указала, какой именно школой развивался этот тезис. Судя по характеру концепции, он, видимо, был высказан представителями так называемой «исторической школы», которая выводила происхождение обычного права, культурных традиций и всех государственных учреждений из недр «национального духа» и глубин «народного сознания» (подробнее см. [1, с. 351—355]). Представители этой школы любили сравнивать происхождение права и других институтов с происхождением и развитием языка. Как нам представляется, славянофильство заимствовало не только этот тезис «исторической школы» права, но и вобрало в себя ряд положений из других философских и историко-правовых учений Запада. В этом отношении оно было эклектичным. Более того, его возникновение и дальнейшие пути развития были своеобразной реакцией на определенные учения немецких философов и историков конца XVIII — первой половины XIX в. Учитывая теоретическую и практическую важность этой стороны проблемы, рассмотрим ее подробнее. Как известно, Г. Гегель, разделяя народы мира на «исторические» и «неисторические», к первым относил те народы, которые создали оригинальные типы религии и государственности. При этом Гегель предупреждал, что он, как философ, анализирует развитие исторического процесса только у народов «исторических». Изучением истории остальных народов, полагал он, должны заниматься историки-специалисты. Исходя из этого принципа, немецкие историки конца XVIII — первой половины XIX в., со своей стороны, разработали концепцию развития исторического процесса у славянских народов. В частности, Л. Ранке в книге «Die Serbische Revolution», опубликованной в 1829 г. в Гамбурге, писал, что за наименее собственной религии и оригинальных идей государственного устройства славяне были вынуждены заимствовать их у других «исторических народов». Но восприняв чуждые формы государственности и религии, — пишет Ранке, — ни один народ не смог идти «путем вполне самостоятельным, свободно усовершенствуя природою данные особенности. С тех пор всякое преуспевание зависит по преимуществу от того отношения, в котором новое племя становится к народам уже образованным. Именно этим отношением, различным у разных

славянских народов, определялась вся их история» [2].

Вполне понятно, что такая концепция исторического развития славянских народов не могла удовлетворить ни политиков, ни ученых в славянских странах. Начиная с 20-х годов XIX в. Ф. Палацкий, Й. Добровский, П. И. Шафарик в Чехии и Словакии, В. Мацневский в Польше, Ю. Н. Венелин, П. Н. Кеппон, А. Д. Чертков, Ф. Ф. Зигель, М. П. Погодин и другие в России стремились вскрыть несостоятельность концепции немецкой историографии. Они одними из первых начали создавать теорию «жупной организации», которая была призвана доказать наличие специфического, только им присущего, догосударственного строя политической жизни у южных и западных славян. Эта, по существу, надуманная теория совершенствовалась в течение более ста лет и удерживалась в историографии вплоть до 70-х годов нашего столетия [3].

Неравномерное раскрытие и слабую освещенность влияния философских и историко-правовых теорий на развитие славяноведения вряд ли можно поставить в вину авторам разделов, поскольку в советской историографии эта область пока еще остается одним из «белых пятен». Отмеченные выше пробелы, на наш взгляд, не портят общего положительного впечатления от рецензируемой книги. Одним из главных ее достоинств является то, что она, особенно в сочетании с библиографическим словарем «Славяноведение в дореволюционной России», изданным в 1979 г., вводит в научный оборот большой и разнообразный информативный материал, который по объему во много раз превосходит любые имеющиеся по этой теме работы. Из этих двух книг можно не только узнать об истории развития славяноведческой науки в целом, но и найти сведения о научной деятельности очень многих ученых, библиографию их основных трудов, а также специальные исследования о них. Именно за это, в первую очередь, сотрудники научно-исследовательских институтов, преподаватели и студенты высших учебных заведений, а также все те, кто интересуется историей южных и западных славян, будут благодарить авторов этого полезного труда: С. Б. Бернштейна, И. К. Горского, В. П. Гудкова, В. А. Дьякова, Л. П. Лаптеву, А. С. Мыльникова, С. В. Смирнова и ответственного редактора акад. Д. Ф. Маркова.

Грачев В. П.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. История политических и правовых учений. М., 1988.
2. Ранке Л. История Сербии по сербским источникам. Перевод с немецкого П. Бартенева. М., 1876, с. 3—4.
3. Грачев В. П. Сербская государственность X—XIV вв. (Критика теории «жупной организации»). М., 1972, с. 19—72.

* * *

Рецензируемый труд — коллективная монография, объединенная общей концепцией, принципами подхода к материалу, пониманием самого славистического комплекса как определенной целостности. Структура книги хорошо продумана. Она состоит из четырех глав, отражающих основные этапы истории дореволюционной славистики.

Хотелось бы сразу же сказать о солидной источниковой базе монографии. Наряду с большим количеством печатных источников авторы использовали и архивные материалы. Их внимание привлекли в основном архивохранилища Москвы и Ленинграда. Заметим, однако, что стоило бы обратиться также к киевским и львовским архивным фондам, в первую очередь, в отделы рукописей Института литературы АН УССР, Центральной научной библиотеки АН УССР, Научной библиотеки им. В. Стефаника, а также в Центральный государственный архив УССР. Здесь есть интереснейшие материалы о И. И. Срезневском, О. М. Бодянском, А. А. Потебне, А. И. Степовиче, М. Г. Халанском.

Особое внимание в рецензируемой работе уделено факторам, влиявшим на развитие славистики в России и определившим ее основное направление. Соответствующие разделы написаны В. А. Дьяковым. В них раскрыта связь славяноведения с историей общественной мысли, с той идейной борьбой, которая велась вокруг идеи славянской общности, славянской взаимности. В монографии убедительно показано, что на всех этапах развития российская славистика была связана со становлением славяноведения в других славянских странах.

Много внимания авторы уделяют центрам славянских исследований, организации славистических исследований, подготовке научных кадров. Однако, кроме рассмотренных в книге, я бы назвал еще Харьковский университет, с которым связана деятельность молодого И. И. Срезневского, П. П. Гулака-Артемевского, а затем А. А. Потебни, М. Г. Халанского и других ученых, упоминаемых в книге. Можно было бы сказать и о Киеве. В начале 40-х годов XIX в. Киевский университет, например, отправил в славянские

страны группу молодых ученых, среди которых был юрист П. А. Тутковский, чья программа весьма интересна и существенно отличается от известных программ Срезневского, Бодянского и Прейса [1].

Подробно рассмотрено в книге развитие университетской славистики. Отмечу, в частности, интереснейший раздел «Оформление славяноведения как научной и учебной дисциплины» (автор — А. С. Мильшиков).

Некоторые возражения вызывает третья глава, посвященная развитию славяноведения с начала 60-х годов до конца XIX в., особенно раздел об исследованиях в области литературы и этнографии (автор — Л. П. Лаптева). Здесь обращает на себя внимание явная диспропорция в распределении материала. Даже такой значительный труд, как «История славянских литератур» А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича не получил развернутой характеристики. Упомянув о работах акад. А. Н. Веселовского, Л. П. Лаптева ограничилась их перечислением, да и то назвала лишь незначительную их часть. Нет в разделе характеристики фольклористических работ А. А. Потебни, получивших широкий резонанс в других славянских странах. Недостаточно учтена специфика каждой из частей славяноведческого комплекса.

По-иному написан литературоведческий раздел четвертой главы (автор — И. К. Горский), в котором на богатом фактическом материале показана глубокая, органическая связь между развитием науки о литературе и историко-литературным процессом.

Книга в целом дает представление о непрерывном накоплении знаний во всех областях славистики, о развитии славяноведения как системы, как специфической отрасли гуманитарного знания.

Авторы уделяют внимание связям славяноведения с другими отраслями культуры. Думается, однако, что этот аспект заслуживает большего внимания. Русские слависты много сделали для того, чтобы познакомить читающую публику с зарубежным славянством. Скажем, в том, что в России широкую известность

приобрело собрание Вука Караджича, едва ли не решающую роль сыграли ученые-слависты. Можно также говорить и о том, что нередко в одном лице совмещался исследователь, критик, переводчик. Назову хотя бы А. И. Степовича. Соприкасаясь с зарубежными славянами, наши ученые принимали непосредственное участие в их культурной жизни. Вспомним о той роли, которую в жизни Б. Петкова и Хр. Ботева сыграли их встречи с В. И. Григоровичем, или о роли Бодянского в ознакомлении сербов с творчеством Т. Шевченко.

Во введении к монографии высказана мысль о необходимости учитывать развитие как славистического комплекса в целом, так и его основных частей. В связи с этим хотелось бы высказать замечание о разделах, посвященных славистической фольклористике и литературоведению. Важно было, с одной стороны, соотнести их развитие с общей историей этих наук, определить, с какой из литературоведческих школ был связан тот или иной ученый; с другой стороны, — выяснить, как деятельность того или иного слависта соотносится с великими культурными движениями. Возьмем хотя бы И. И. Срезневского. На раннем этапе своей деятельности он выступал как представитель романтической фольклористики, был связан с так называемой харьковской школой украинского романтизма. Романтическое понимание фольклора нашло свое отражение и в работах О. М. Бодянского и Ю. И. Венелина. В них содержатся мысли, не утратившие своего значения и сегодня. Именно это продуктивное начало представляет наибольший интерес. Кстати, для славистической фольклористики имела значение та черта романтизма, о которой очень точно писал А. В. Гулыга: «Романтизм универсален, он выступает за преодоление всякой нетерпимости, всякой узости. Для романтика интересна любая индивидуальность — человек, народ, все человечество, как нечто неповторимое» [2]. Другой пример — деятельность А. А. Потебни. Я далек от того, чтобы причислять этого ученого к одной какой-нибудь школе, как это порой делают. Тем не менее сказать о его теоретических принципах, о сущности его подхода к проблемам фольклора и литературы необходимо. Ведь на фольклорном материале он разрабатывал проблемы, связанные не только с развитием фольклора, но и с его восприятием.

Следует иметь в виду и еще одно обстоятельство. Сама деятельность ряда сла-

вистов была осуществлением принципа комплексности. Тот же Бодянский был и языковедом, и фольклористом, и историком, и, как бы мы теперь сказали, организатором науки. Широкий круг лингвистических, фольклористических и литературоведческих проблем поднимал А. А. Потебня. Вычленение отдельных составляющих славистического комплекса при рассмотрении деятельности ученых имеет определенный смысл. Но нужен и синтез. В ряде разделов показано развитие принципа комплексности. Но, как мне кажется, монографии явно не хватает портретов отдельных славистов, их развернутых характеристик. Такие главы помогли бы раскрыть, как реально осуществлялся этот принцип.

Некоторые положения, выдвинутые в монографии, стоило развить. Скажем авторы дважды упоминают Гердера. В одном случае лаконично сказано о влиянии его идей на формирование романтической идеологии, в другом — столь же кратко — о полемике между Ю. И. Венелиным и О. М. Бодянским по вопросу об исконных чертах славянского характера в понимании Гердера. Но вопрос о восприятии гердеровских идей русскими славистами гораздо шире, ему следовало уделить больше внимания (см. не названную в библиографии статью [3]).

Есть в работе недостаточно обоснованные утверждения. На с. 202 читаем, что Срезневский был «убежденным монархистом, восхвалявшим русское самодержавие и преклонявшимся перед царствующей династией». При этом автор соответствующего раздела Л. П. Лаптева ссылается не на работы самого ученого, а на свою статью, опубликованную в 1982 г. Правда, в данном случае речь идет только о пореформенном периоде. Из других разделов явствует, что взгляды Срезневского претерпели серьезную эволюцию. Заметим: вот еще одно доказательство необходимости портретов, обобщающих характеристик отдельных славистов. Если же говорить об общественно-политических взглядах Срезневского, их эволюции, то этот вопрос подробно рассмотрен в работе М. Ю. Досталь [4], также не упомянутой в библиографии.

Некоторым из заслуживающих внимания славистов не уделено достаточного внимания. На с. 669 читаем: «Кроме Аничкова, изучением фольклора занимались М. Г. Халанский, Н. Ф. Сумцов, А. М. Лобода, М. К. Симони и др.». Далее следует характеристика основных работ Халанского. Сумцов же и Лобода

больше ни разу не упоминаются. Однако, скажем, Сумцов занимался не только славянским фольклором, но и славянскими литературами, был крупным организатором науки, многое сделал для укрепления и расширения межславянских научных связей (см. [5]). Лобода был ученым широкого диапазона, его работы привлекали внимание И. Франко. Дело в том, что научное творчество А. М. Лободы и Н. Ф. Сумцова не изучено. Сейчас, когда рецензируемая монография осветила основную линию развития отечественной славистики, обобщила сделанное и во многих случаях дала новое решение проблем славистической историографии, стало ясно, что еще предстоит сделать.

Редколлегия рецензируемого труда стремилась к концептуальному единству, к согласованности всех частей книги. Этого в основном удалось достичь. Но некоторые расхождения в отдельных фактах и датах, в характеристиках все же сохранились. Ограничусь одним примером. Дважды — во втором разделе третьей главы и в шестом разделе четвертой — речь идет об А. И. Степовиче. В одном случае годом его рождения назван 1857, в другом — 1856. В третьей главе говорится, что Степович начал читать историю славянских литератур в Киевском университете в 1892 г., четвертая глава

называет иную дату — 1895 г. В книге, можно встретить повторы, возврат авторов к одним и тем же фактам.

В целом же авторскому коллективу удалось создать нужную и полезную работу, обобщающую большой материал по истории отечественной славистики. Книга, безусловно, стимулирует развитие последующих исследований в области славистической историографии.

Гольберг М. Я.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Киевский городской государственный архив, ф. 16, оп. 469, ед. хр. 36, л. 263—268 об. Дневная записка заседания Совета университета. Программа для славистов, отъезжающих за границу.
2. Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М., 1986, с. 162.
3. Данилевский Р. Ю. Гердер и сравнительное изучение литературы в России. — В кн.: Русская культура XVIII века и западноевропейские литературы. М., 1980.
4. Досталь М. Ю. Общественно-политические взгляды И. И. Срезневского. — В кн.: Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981.
5. Гольберг М. Я. Письма М. Мурко к Н. Ф. Сумцову. — В кн.: Вопросы русской литературы. Вып. 3. Львов, 1969, с. 81—85.

O. NOVÁK. Henleinovci proti Československa. Z historie sudetoněmeckého fašismu v letech 1933—1938. Praha, 1987, 240 s.

O. НОВАК. Генлейновцы против Чехословакии. Из истории судето-немецкого фашизма в 1933—1938 гг.

Проблема чехословацких немцев межвоенного периода и пагубной роли генлейновского движения в судьбах Чехословакии накануне Мюнхенскогоговора по-прежнему вызывает исследовательский интерес. Появление накануне 50-летней даты со дня Мюнхена рецензируемой работы чехословацкого историка представляется весьма своевременным и актуальным. В настоящее время О. Новак — один из основных специалистов по данной проблематике. Этому вопросу было посвящено также его выступление на международном симпозиуме (с участием историков из соцстран и ФРГ) в г. Хебе, состоявшемся 14—15 апреля 1988 г. по инициативе Чехословацкого союза антифашистских борцов и кафедр

ры истории Чехословакии Карлова университета.

Автор монографии следующим образом сформулировал цель своей работы: в конфронтации с реванистской и консервативной историографией раскрыть фашистский характер Генлейновского движения (судето-немецкой партии), а также контакты и сотрудничество генлейновцев с нацистской Германией.

В книге был использован весь комплекс имеющейся литературы по проблеме, а также все доступные, как опубликованные, так и архивные (главным образом чехословацкие) материалы. В этой связи следует подчеркнуть основательность источниковой базы рецензируемого труда и основных авторских выводов.

В то же время, во введении был бы уместен хотя бы краткий историографический обзор с характеристикой основных работ предшественников.

Книга имеет стройную структуру, она состоит из восьми глав, в которых излагается история генлейновского движения, начиная с 1933 г. Разумеется, нет нужды останавливаться на содержании каждой из глав. Наиболее весомым и оригинальным представляется вклад автора в исследование истоков движения, его социального состава и организационной структуры, идейно-политической платформы, скрытых источников финансирования и связей с представителями немецкого в Чехословакии и германского финансового капитала. Материал первых двух глав раскрывает основные предпосылки, приведшие к победе генлейновцев на парламентских выборах в Чехословакии 1935 г.

Основные программные положения, а также предвыборная платформа партии Генлейна были выработаны на съезде в г. Ческа Липа в октябре 1934 г. Генлейновцам была свойственна массированная критика парламентской системы Чехословакии, выпады против партий социалистического направления и особенно КПЧ. Наиболее резким нападкам подвергалась внешнеполитическая ориентация страны, линия на чехословацко-советское сближение. Одним из главных требований генлейновцев стало установление тесных межгосударственных контактов Чехословакии с Германией.

О. Новак подробно анализирует расстановку партийно-политических сил судето-немецкого населения, вскрывая причины особо острого социального положения трудовых слоев приграничных районов в кризисные периоды.

Как известно, выборы в парламент 1935 г. не привели к какой-либо трансформации политической системы Чехословакии. Но победа судето-немецкой партии в тот период, когда была обострена международная обстановка, способствовала нарастанию агрессивности генлейновцев при поддержке германского фашизма и «умиротворенческом попустительстве» западных держав. Генлейновцы усиливали свое положение главным образом за счет массовой базы так называемых активистских партий чехословацких немцев, входивших тогда в правящую коалицию Чехословакии.

Основной линией партии Генлейна после 1935 г. было сознательное стремление

придать «судето-немецкому» вопросу международную огласку. Со второй половины 30-х годов значительно усилилась материальная помощь генлейновцам со стороны гитлеровской Германии (с. 190—193 и др.). После преодоления с помощью фашистской Германии внутрипартийного кризиса 1936 г. основной линией генлейновцев стала эскалация своих требований и компрометация чехословацкого государства.

Особый интерес во второй части книги вызывает насыщенный материал, дающий представление о национальной политике правящих кругов Чехословакии накануне Мюнхена, стремившихся достичь «национального примирения» с чехословацкими немцами за счет целого ряда ощутимых уступок в социально-экономической, культурной и политической сферах. При этом правящая коалиция стремилась усилить положение так называемых активистских немецких партий, участвовавших в коалиционном блоке. Как отмечает автор, правящие круги на определенном этапе не осознавали необходимости ведения активной борьбы с судето-немецким фашизмом. Но несмотря на это, принимаемые правительством по договоренности с «активистами» меры приносили ощутимые результаты в решении «немецкого вопроса» (с. 120). Возросли размеры выплачиваемых пособий по безработице и помощи со стороны государства немецкому населению, особенно молодежи. В целом положение немецкого населения в Чехословакии, как считает автор, было на весьма хорошем уровне, невзирая на недостатки в социальной политике государства; постепенно во второй половине 30-х годов (с. 120) ситуация улучшалась. Все-таки, следует отметить, что в целом позиция А. Новака в оценке эффективности осуществляемой национальной политики по отношению к национальным меньшинствам представляется не всегда последовательной. Так, в монографии (с. 10) речь идет о политике национального угнетения в пограничных областях, утверждается также, что ирредентизм немцев и других меньшинств был непосредственной «реакцией на ошибки в национальной политике государства» (с. 11). В то же время приводимый автором новый фактический материал о реальном положении «чехословацких немцев» и мерах правительства (пусть порой и запоздалых) позволяет нам более объективно оценить курс правительства ЧСР, так что отдельные формулировки выглядят определенной данью устаревшей ли-

гературе, в которой вплотную данный аспект ранее не исследовался.

О. Новак подробно анализирует целый ряд проектов чехословацкой стороны, выдвигавшихся в качестве конкретной (и далеко идущей, вплоть до предоставления немцам автономии) платформы переговоров с партией Генлейна. Однако, как показали дальнейшие события, главной задачей генлейновцев был срыв переговоров, поскольку с самого начала единственно приемлемым для них решением вопроса было отторжение чехословацких территорий и присоединение их к фашистской Германии.

Последовательно и увлекательно в книге О. Новака излагается событийная сторона непосредственного кануна Мюнхена. Хотя историки уже неоднократно касались этого периода, автору и здесь удалось внести новые штрихи в рассмотрение того

или иного вопроса внутри- и внешнеполитической борьбы (см., в частности, главу «Путь к Мюнхену»).

В работе встречаются отдельные повторы (s. 118, 120 — материал о меморандуме КПЧ).

В целом, монография О. Новака явилась заметным вкладом в разработку указанной проблематики и несомненно вызовет интерес специалистов и всех читателей. На сегодняшний день это самая исчерпывающая работа по истории генлейновского движения и его пагубной роли «пятой колонны» нацистской Германии.

Книга помогает глубже понять причины принятия непростых (и часто на Западе оспариваемых) решений о выселении после 1945 г. «чехословацких немцев» — пособников германского фашизма из Чехословакии.

Фирсов Е. Ф.

G. X. SKILLING. Samizdat and independent society in Central and Eastern Europe. Oxford, 1989, 293 p.

Г. Х. СКИЛЛИНГ. Самиздат и независимое общество в Центральной и Восточной Европе

Один из уроков последних событий в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, на наш взгляд, заключается в том, что здесь в условиях превалирования командно-административной системы и соответствующей ей «официальной культуры» складывались и функционировали элементы гражданского общества и соответствующей ему «параллельной культуры» (первый термин принадлежит К. Марксу, второй — чехословацким «диссидентам»). Эта культура советскими исследователями практически не изучалась, но в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и в СССР использовалась рядом публицистов как объект для безосновательных нападок и разностной критики.

В связи с этим приходится обращаться к работам зарубежных авторов, собравших интересный материал о ней. В их числе — профессор университета в Торонто Гордон Х. Скиллинг, автор рассматриваемой книги. Ее цель — анализ зародышей «гражданского общества», резко отличающихся от «первого», или «официального», общества — партии и государства, осуществляющих тотальный контроль над общественной жизнью, анализ возникновения и развития данного феномена, возможный результат которого,

подчеркивает автор, подготовивший книгу к началу 1989 г., — плюралистическое или «гражданское общество», не поработанное государством.

Источниками для книги послужили материалы самиздата, официальные документы, наблюдения автора, сделанные в ходе поездок в Чехословакию, работы эмигрантов и советологических центров, результаты анкетных опросов, проведенных Скиллингом. Книга посвящена ведущим чешским и словацким «диссидентам»: В. Гавелу, В. Бенде и др. Автор утверждает, что он вдохновлялся идеями Т. Г. Масарика.

Значение самиздата, согласно Скиллингу, заключается в открытом и честном выражении взглядов, в новых формах коммуникации, противостоящих официальной пропаганде. Среди независимых видов коммуникации в Центральной Европе называется также циркуляция докладов, деклараций, видео- и магнитофонных записей и т. д.

Основное внимание в книге уделено Чехословакии. Скиллинг приводит мнение В. Гавела, считавшего, что в «посттоталитарном обществе вся политика в традиционном смысле элиминируется». Но чехословацкий драматург и его соратники

все же активно занимались политикой с 1968 г. Они налаживали «параллельную политическую жизнь», группируясь вокруг католической церкви, создавая организации по защите прав человека, выпуская полуподпольные журналы, проводя «спектакли на дому» и т. д. Программа подобной политической активности с конца 70-х годов определялась Хартией-77 — декларацией, увидевшей свет в январе 1977 г. и подписанной 241 деятелем науки, культуры и т. д. «Ее создатели не были убеждены, что она будет действовать в течение длительного времени, и теперь они рассматривают такого рода воздействие в качестве чуда», — считает Скиллинг (р. 44). К середине 1977 г. Хартию подписали 750 человек, к июню 1980 г. — более 1 тыс., к 1987 г. — 1300 человек, из них в Чехословакии находились более 1 тыс.; среди поставивших свои подписи были и рабочие. С 1978 г. выходил ежемесячный бюллетень «Информационный листок Хартии-77» — 10—30 страниц, содержащих документы, сообщения, протесты, письма членов группы, известия из других стран и т. п.

В апреле 1987 г. члены Хартии-77 написали письмо М. С. Горбачеву, в котором приветствовались его призывы к новому мышлению и выражались требования поддержать перестройку в Чехословакии.

Организация была связана с Советом свободной Чехословакии в США, эмигрантскими кругами, хотя их взгляды не во всем совпадали. Она контактировала с национальными комитетами по защите прав человека, с польской Солидарностью, с которой в 1984 г. подписала совместный документ.

Важный участок «параллельной культуры» в Чехословакии — независимая историография, связываемая с именами В. Гавела (его письмо к Г. Гусаку, написанное в апреле 1975 г., в котором констатировался «распад реальной истории» и отвергалась «псевдоистория»), словацкого философа М. Кусы и политолога М. Симечки (критиковавших «аисторичность» в культуре), не говоря уже об историках-профессионалах, отлученных от официальных должностей.

«История и ее интерпретации всегда были кардинально важным фактором в центрально- и восточноевропейской культуре и политике, а историки часто играли здесь политическую роль, несвойственную их коллегам на Западе», — пишет Скиллинг (р. 101). Видные ученые — Добровский, Палацкий, Масарик — считали, что историю надо изучать не только ради

самой истории, но и ради современности, хотя Масарик, став президентом, не стремился манипулировать историей для упрочения своих позиций.

После 1948 г. роль историков в Чехословакии в некоторых аспектах стала даже более значимой, чем раньше, утверждает канадский автор, и это было связано с интерпретацией исторических событий в терминах марксизма. Однако затем такая интерпретация породила «официальную историографию» в качестве «одного из столпов тоталитарной системы». Но все же историографию не удалось подвергнуть «сталинизации» полностью; более того, уже после 1956 г. она стала «полем битвы» между «официальными» и независимыми историками. К 1963 г. многие академические историки, оставаясь марксистами и даже членами КПЧ, начали выходить из-под наставнического покровительства партии, отвергая табу и запреты, идеологический контроль и цензуру. Это, в частности, проявилось на Третьем съезде чехословацких историков в Брно, где Й. Масек, директор Института истории, призывал с большей степенью объективности исследовать историю Чехословацкой республики в ее целостности. Процесс достиг кульминации в 1968 г., в это время даже шли разговоры о «революции историков».

После 1969 г. исторические исследования стали свертываться и даже запрещаться (например, книга «Семь дней в Праге» была названа «очернительской», а ее авторы В. Пречан и М. Отагал подверглись гонениям). Институт истории был преобразован в Институт чехословацкой и всеобщей истории, был учрежден Чехословацко-советский институт, который возглавил один из наиболее догматичных историков В. Крал, «надзиравший» за всей исторической наукой в стране. Работы оригинальных историков, например, В. Кутнара, обвинялись в «идеологическом маразме масарикизма» и т. п.

Возрождение независимой историографии связано с именами В. Пречана, М. Маховца и ряда молодых историков. С 1978 по 1987 гг. вышло более 20 независимых журналов и сборников, посвященных самым различным темам: Иосифу II, Т. Г. Масарику, первой республике, «коротким периодам свободы» в 1945—1948 и 1968—1969 гг. Многим из этих изданий присущ дух сильного национального самокритицизма, в них осуждается забвение исторической памяти народа.

Интересна характеристика Скиллингом лидера чехословацкой «параллельной

культуры» В. Гавела, одного из основателей и наиболее активного члена Хартии-77. Весной 1968 г. Гавел проявил заметную активность в реформировании Союза писателей и учреждении Кружка независимых писателей, в 1975 г. написал упомянутое письмо Г. Гусаку, где дал анализ «политической анемии» и «морального кризиса» среди чехов и словаков, в 80-е годы подвергался арестам и заключению, в частности за выпуск книг «О свободе и силе» (1980) и «Власть безвластных. Граждане против государства в Центральной и Восточной Европе» (1985). Его деятельность, безусловно, носит аполитический характер, считает канадский исследователь, но это «антиполитическая политика», ориентирующаяся на практическую мораль, служение истине, защиту прав личности.

В одной из последних книг («История тотального общества» появилась в самиздате в 1987 г.), Гавел указывает на негативные последствия процессов, связанных с заменой революционного духа тугой бюрократичностью, истории — псевдо-историей, плюрализма политических и экономических связей — «абсолютной истиной». Он различает историю как пассивное переживание и историю как деяние. Деятельность Гавела, включает Скиллинга, являет «деяние исключительного и удивительного порядка в обществе, которое пока нельзя изменить другими способами».

«Второе», или «независимое», общество с присущей ему «параллельной культурой» по-разному проявлялось, помимо Чехословакии, и в других странах региона. В Венгрии и Польше нелегальная и полуполегалная экономика вовлекает все большее число граждан, в результате чего в повседневной жизни появляется «двойной стандарт». При этом «мотивирующим фактором в частном предпринимательстве является уже не просто материальная удовлетворенность, но также желание личной независимости и личной свободы». В целом же частная экономическая деятельность представляет собой не просто сумму индивидуальных изолированных действий, запятое ею оказывают на общество коллективное воздействие.

Характерными особенностями «второй» политики и «параллельной» культуры, по мнению Скиллинга, являются: в Чехословакии — активность неформального, небюрократического, динамичного и открытого сообщества Хартия-77; в Польше — деятельность КОР, Лиги за независимость, а также церковных кругов и Солидарно-

сти; в Венгрии — реформаторское движение Народного фронта, возглавляемого И. Пожгаи; в ГДР — активность евангелической церкви, лацифистских и экологических групп и особенно молодежи, движение за права человека. В Румынии экономический кризис затемняет существование ростков нового, хотя молодежь все активнее выражает неофициальные взгляды, возникают демонстрации против режима Чаушеску; румынские диссиденты в целом «проклинают культ личности Чаушеску и утверждают, что его политика „национальной независимости“ всего лишь маскирует неосталинизм» (р. 195). В Болгарии наблюдается стремление молодежи к подпольной музыке, восточным культам, иногда появляются листовки, но здесь трудно говорить даже о рудиментах «независимого» общества. (В качестве комментария можно сказать: до чего жизнь богаче самых осторожных и самых смелых прогнозов...). В Югославии допускаются широкие дискуссии, свободные университеты, демонстрации.

Каковы же перспективы «параллельной культуры» в регионе? Различные ее проявления видны во всех сферах жизни и способны создать ее модель как через независимые действия индивидов в экономике, культуре и общественной жизни, так и — реже — через групповые действия. Они направлены против тоталитарных сплет, монополии официальной культуры, на демократическое обновление. Словом, то, что было известно канадскому исследователю еще в 1988 г., видно сегодня и нам. Но Скиллинга идет дальше, утверждая, что в результате складывается «международный полис» — единство действий независимых сообществ в Восточной и Центральной Европе через двусторонние и многосторонние контакты, визиты, программы экологических и церковных действий, контакты между независимыми профсоюзными группами, информационные сети обмена мнениями и т. д.

Реформы М. С. Горбачева, включает Скиллинга, вывели СССР вперед в такого рода инициативах, можно ожидать шагов в подобном направлении и в других странах региона, ориентирующихся на гласность. И хотя польский католический деятель А. Михник называет М. С. Горбачева «великим контрреформатором, который пытается через умеренные изменения сохранить и улучшить существующую систему», воздействие его политики можно считать осязаемым и необратимым.

Евгений И. Е.

Писательница Зофья Налковская (1884—1954), творчеству которой посвящена рассматриваемая монография С. Ф. Мусиенко, сыграла значительную роль в польской литературе XX в., в первую очередь в развитии и обогащении прозы социально-психологического направления. Налковская прошла большой и сложный путь в литературе. В ее формировании как незаурядной личности, художника и общественного деятеля автор монографии выделяет воздействие исторических событий (революция 1905—1907 гг., восстановление в 1918 г. независимого польского государства, образование в 1944 г. народно-демократической Польши), учитывает и влияние духовной энергии ее отца, Вацлава Налковского, известного ученого и прогрессивного деятеля. Воспринимая З. Налковскую как духовную последовательницу отца, С. Ф. Мусиенко видит здесь одну из причин глубокого интереса писательницы к человеческой личности в ее сложнейших взаимосвязях с окружающим миром. Глобальной идеей монографии, связующей предпринятый автором анализ тем, проблем, конфликтов, сюжетов, образов творчества Налковской, является утверждение глубоко гуманистической и демократической сущности творчества писательницы. Многостороннее рассмотрение этих вопросов обеспечивается избранном в качестве основной «несущей конструкции» исследования творчества Налковской оппозиции «человек и мир, в котором он живет», а также тем, что свою идею автор работы развивает в непрерывном диалоге, полемике, соотнесении своих наблюдений с выдвинутыми ранее другими авторами, польскими и советскими. В сравнительно небольшой по объему работе исследовательнице удалось передать свое восприятие писательницы, раскрыть ее дар проникновения в человеческую психологию, показать ее своеобразие как прозаика и драматурга. С. Ф. Мусиенко предлагает при этом новые ракурсы видения целых периодов писательского пути Налковской, отдельных ее произведений или их компонентов. Так, обращаясь к первому периоду творчества писательницы, зачастую рассматривавшемуся в науке, как «младопольский», «модернистский», С. Ф. Мусиенко показала, что по многим существенным параметрам он являет собой вполне осознанную и целенаправленную полемику с модернизмом. Это проливает новый свет на начальный этап

формирования реалистического метода писательницы и ее «социального зрения».

Целый спектр наблюдений, связанных как с мировосприятием Налковской — ее глубоким интернационализмом, чувством гражданского и человеческого долга, так и с совершенствованием ее художественного мастерства, С. Ф. Мусиенко выдвигает в процессе анализа «гродненских мотивов» в ее творчестве. В Гродно, расположенном на восточной окраине тогдашней Польши, с его разноплеменным населением, Налковская прожила с 1922 по 1927 гг. Здесь пробуждается — под влиянием и участия в опеке над заключенными гродненской городской тюрьмы, и соприкосновения с разными сферами местного общества — интерес к сложнейшим и по большей части драматическим переплетениям социальных и национальных проблем в судьбах проживавших на гродненщине людей, обостряется и расширяется внимание писательницы как к отдельному человеку, так и к целым народам. Налковская глубоко проникает во многие проблемы социальных, национальных, политических взаимоотношений, постигает механизмы их взаимодействия с человеческой психологией. Развивая «гродненскую тему» вслед за предшествовавшими исследователями, С. Ф. Мусиенко, основательно анализируя огромный фактический материал, в том числе новый, выявленный ею самой, показала не освещенный ранее во всей его сложности и остроте подлинный драматизм личной судьбы писательницы, бескорыстие и милосердие по отношению к подопечным заключенным, глубокое проникновение Налковской в местные проблемы, позволившее ей понять важные аспекты общественно-политической реальности Польши тех лет. Анализ этого периода жизни и деятельности писательницы подводит автора к убедительным выводам о том, что в Гродно Налковская обретает большую умудренность как человек и гражданин, а в творческой судьбе этот город оказался местом ее рождения как талантливого автора социально-психологических и политических романов, прежде всего обеспечивших ее вхождение в историю польской литературы. Вскрывая «стержневой» характер «гродненских мотивов», присущий ее творчеству, от Романа Терезы Генцерт (1924) до «Медальонов» (1946) и «Узлов жизни» (1952), автор концентрирует свое внимание прежде всего на романе «Недобрая

любовь» (1928) и сборнике рассказов «Стены мира» (1931), показывая, какой огромный запас личного опыта стоял за этими произведениями, обусловив их достоверность, глубину общественного и психологического содержания. Однако, к сожалению, С. Ф. Мусиенко не удалось преодолеть традиции некоторой недооценки романа «Недобрая любовь», свойственной ранее многим исследователям, включая автора этих строк. А его значительность, особенно в контексте наблюдений самой С. Ф. Мусиенко, представляется весьма очевидной: и по остроте поднимаемой в нем проблематики и по психологическому мастерству. Недостаточно, как представляется, оценено это произведение как полемика Налковской с пропагандировавшимися в те годы определенными политическими кругами идеями о том, что Польша — последний оплот христианства и культуры на востоке Европы. Poleмичными в этом плане были и рассказы сборника «Стены мира», которые, по оценке исследовательницы, «выходят за пределы тюремной проблематики и гродненских событий — это аллегория и одновременно эпопея о жизни народа на окраинах, жизни, исполненной личных и общественных трагедий, социального и национального угнетения» (с. 101).

В монографии творчество писательницы рассматривается поэтически. Однако этот принцип несколько нарушен разделом «Роман с театром»: он слишком «разводит» «Стены мира» и «ключевой» роман писательницы «Граница» (1934—1935). «Стены мира» оказываются целиком «прикрепленными» к периоду проживания писательницы в Гродно. С одной стороны, это оправдано тем, что и тематически, и по времени написания и опубликования трех рассказов сборник уместается в гродненский период. Однако остальные его четыре рассказа были написаны и опубликованы Налковской (в периодической печати) только в 1930 г. — в год присуждения ей, вслед за литературной премией г. Лодзи, Офицерского креста Ордена Возрождения Польши. Это было трудное для польского общества время экономического кризиса, обнищания деревни, обострения социальных и национальных противоречий (с. 148). Представляется, что ситуация в стране в значительной степени отразилась и в «Границе», и в концепции сборника «Стены мира» в целом, обусловив углубление понимания писательницей проблемы размежевания людей в современном ей обществе, существ-

ствования в нем «трещины». На изменение в дальнейшем первоначального названия романа «Схемы» на «Границу» воздействовала, в частности, и идейная связь со «Стенами мира»: семантически «граница» ближе к «трещине», «разлому», «стене». И хотя, исследуя генезис «Границы», автор монографии отмечает значимость личного опыта Налковской в борьбе за социальную справедливость в гродненский период жизни (с. 149), связь этого романа со «Стенами мира» раскрыта недостаточно, тогда как она представляет собой важное звено в эволюции воззрений Налковской. Другой интересный аспект связи этих произведений состоит в том, что писательница исследует в них проблему преступления и возмездия. Отметим, что тонкий и пронзительный писатель Е. Анджеевский так и озаглавил свой отклик на «Границу» — «Книга о вине и наказании» (1935).

Содержащийся здесь намек на творчество Ф. М. Достоевского отнюдь не случаен. Его имя встречается на многих страницах монографии, в том числе в связи с романом «Граница». С. Ф. Мусиенко первой среди исследователей творчества Налковской столь обстоятельно и разносторонне рассмотрела проблему связей Налковской с мировой литературой (проведены сопоставления творчества Налковской с Г. Ибсенем, Э. Золя, Г. де Мопассаном, О. Уайльдом, А. Стринбергом, А. Франсом, Г. Флобером, Т. Манном, Р. Ролланом, М. Прустом, А. Барбюсом и др.). Из русских писателей наибольшее место занимает Ф. М. Достоевский, творчество которого сопутствовало Налковской на всех этапах ее писательского пути. При этом задача исчерпать тему восприятия писательницей творчества Достоевского, как и И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, А. М. Горького, Л. Н. Андреева и других, автором не ставилась. Представляется, что в книге оказался «обойденным» Л. Н. Толстой, хотя определенный отзвук его нравственно-этических идей ощутим в произведениях Налковской. Вопросы связи творчества Налковской с русской и советской литературой, интересно и разнообразно намеченные, могут стать предметом дальнейших исследований.

С. Ф. Мусиенко многократно обращается к дневникам писательницы, которые она вела с четырнадцати лет до последних дней жизни, — важнейшим источником осмысления идейно-эстетической эволюции их автора. В монографии прослеживается «восхождение» многих тем,

проблем, мотивов и образов художественных произведений Налковской к ее дневникам. Однако, на наш взгляд, дневники недостаточно учитываются как звено начального этапа творческой эволюции Налковской: между первым ее стихотворением (в четырнадцать лет) и первым романом «Женщины» (в двадцать лет). После выхода этого романа один из критиков писал, что «ей не из чего вырастать, перед нами зрелый мастер». Дневники первых лет и есть «недостающее» звено в процессе ее роста. Ведь не случайно, начав писать «Женщин», она на время перестала вести дневник. Дневник отчасти «на-

вязал» произведениям писательницы, особенно первым, свою архитектонику: они изобилуют дневниковыми записями, вставками-размышлениями, исповедями.

Монография С. Ф. Мусленко — новаторская по проблемному осмыслению творчества З. Налковской, глубокому освещению процесса формирования ее гуманистических и демократических воззрений, психологического таланта — значительный вклад в изучение творчества этой выдающейся писательницы и в развитие советской полонистики.

Агапкина Т. П.

ЦЕННЕЙШЕЕ ИЗДАНИЕ В ОБЛАСТИ СЛАВИСТИКИ

Один из самых ярких славянских памятников начала XIV в., вобравший в себя болгарские и сербские языковые черты, содержащий замечательные разножанровые произведения славянской письменности, вошел в историю науки под названием Берлинского сборника¹ [1].

Издание этого пергаменного сборника факсимильным способом в формате оригинала осуществлено австрийским ученым Х. Микласом (ФРГ) с дополнениями по списку конца XVI в. из собрания Гильфердинга, № 42², подготовленными В. Загребиним.

Перед нами итог большого издательского труда, но в еще большей степени — источник для серьезных научных поисков, ибо доступность памятника — важнейший стимул для его дальнейшего изучения.

Технически издание почти безупречно. Не только все слова, буквы, но и надстрочные и прочие знаки просматриваются без труда. Однако в черно-белом варианте, который избрал издатель, для читателя оказываются трудноразличимы киноарные и простые чернильные тексты. Чтобы предостеречь читателя от пропусков при чтении, направить внимание на правильное и полное осмысление текста, Х. Миклас членит БСб на 18 самостоятельных композиционных частей, следуя при этом за оригиналом (в сборнике начало каждой части выделено графически и колористически: заставкой,

инициалом и т. д.). С помощью цифровых обозначений в каждой из 18 частей отмечаются самостоятельные литературные произведения, отдельные смысловые отрезки, вставки из других текстов, цитация, толкования и т. д. Цифры на полях издания — это и фиксация объема неполноты (утрат) текста, и удобная отсылка к конкретным строкам сборника при анализе исследовательских работ во Введении рецензируемой книги.

Механические утраты БСб (а их, по мнению Х. Микласа, более 1/3 всего объема кодекса), восстанавливаются за счет найденных в ГПБ трех (один из которых сохранился фрагментарно) листов — под шифром О.п.1.15 — некогда составлявших одно целое с БСб, или с помощью его «близнеца» — СбГ, или из других сборников, в составе которых встречаются аналогичные тексты произведений (на с. 101 приведен список таких «помощников»).

Признавая огромную важность проделанной работы нельзя все же не пожалеть, что одновременно с БСб не были изданы недостающие в его составе части из СбГ. Эти два сборника, вероятно, восходят к одному оригиналу (хотя издатель допускает и другую, на наш взгляд весьма спорную, мысль, что СбГ может быть прямой или, по крайней мере, косвенной копией БСб). На с. 107—110 приведена роспись СбГ с инципитами недостающих в БСб статей (выполнил В. Загребин), а на с. 101—104 дана роспись состава БСб с указанием на аналогичные тексты и порядковый номер статей в СбГ. Именно эти росписи и заставляют сожалеть об упущенной возмож-

¹ Далее — БСб, хранится под шифром Вук. 48 в Государственной библиотеке Прусского культурного фонда, г. Берлин, ФРГ.]

² Далее — СбГ, ГПБ, Ленинград.

ности одновременной и очень компактной публикации двух кодексов и реконструируемого на их основе прототипа или протографа.

Значение гипотетического оригинала БСб и СбГ тем более велико, что по составу он близок не только южнославянским, но и некоторым древнерусским сборникам. Используемые составителем БСб протографы, которые исследователи считают частично болгарскими и относят к XII или к XIII вв., могут, вероятно, прояснить начальные этапы складывания славянских календарных и некалендарных сборников и характеризовать весьма избирательный вкус составителя БСб, обошедшего своим вниманием те сочинения, которые станут популярны в древнерусских четых сборниках XIV—XVI вв.

Проблемы формирования, типологии, классификации славяно-русских литературных сборников — ключевые для славянской медиэвистики, и в этой связи значение рецензируемого издания далеко не исчерпывается публикацией древнего текста.

Теоретическая часть издания (Введение, раздел А.III.) представляет собой экскурс в историю изучения и БСб, и, в известной мере, славянских сборников вообще. В нем подводятся итог определенному периоду в изучении сборников нелитургического содержания, этапу в развитии славистики. Остановимся кратко на его главных моментах.

Во Введении Х. Миклас приводит несколько фактов, свидетельствующих о необычной судьбе и роли БСб в славянской книжности. Среди равных БСб по значению из «более чем двух дюжины кодексов и фрагментов» он называет 9 древних сборников, в числе которых знаменитые Изборники 1073, 1076 гг., Успенский сборник и др. Это сразу выводит издаваемый памятник за рамки единичности, исключительности (при этом его ценность не отрицается), включает его в контекст книжной культуры славянского средневековья. С другими кодексами роднят БСб переводы греческих текстов, произведения славянского письма и всевозможные компилятивные композиции. Во многих отношениях, в том числе и в лингвистическом, БСб в равной степени представляют интерес как для славистов, так и византинистов. В рамках литературного производства *Slavia orthodoxa*, как показано во Введении, БСб остается редчайшим источником для изучения культурных связей южных и восточных славян.

Заинтересовав читателя и приоткрыв ему научные дали мисцелланологии (от лат.: сборник — *codex miscellaneus*) издатель-ученый ведет читателя по дороге изучения БСб длиной почти 150 лет, отмечая успехи, неудачи, этапные моменты.

Начинается она публикацией письма и отрывков из «Примеров» Вука Караджича — первооткрывателя БСб. История первоначального исследования рукописи изложена Х. Микласом как увлекательнейший сюжет славистики. Завершило этот начальный этап исследование В. Ягича начала 70-х годов XIX в., к этому времени относится и его открытие «близнеца» БСб — сборника Гильфердинга, № 42.

Со времени Ягича появилось более 100 работ 80 авторов, так или иначе затрагивающих вопросы изучения БСб. Систематизируя эти исследования, Х. Миклас избирает хронологический принцип и делит историю послеегипетского изучения БСб на три фазы: 1875—1937 гг., 1938—1980 гг. и с 1980 г. по настоящее время. В каждой фазе свои главные имена, свои решенные и только поставленные вопросы.

Разные области филологии затронуты при изучении БСб А. Яцимирским, М. Селесковичем, В. Истриным, Б. Цоным, М. Сперанским и другими славистами, но на первый план в конце XIX — начале XX в. выдвигаются текстолого-лингвистический и палеографический подходы. Этого требовала и подготовка изданий текстов БСб (особенно много внимания уделялось «жемчужинам» БСб: переработке сочинения черноризца Храбра, истории о «слепце и хромце»), и стремление определить скрипторий или «орфографическую школу», чьи черты запечатлелись в БСб.

В следующей фазе после повторного открытия БСб сербским искусствоведом М. Харасиядис (1973) основное внимание исследователей (Н. Драгова, А. де Сантос-Оттеро, Д. Петканова, Фр. Томсон, Е. Георгиев, Св. Николова) сосредоточено на изучении содержания сборников и поисках «партнеров для сравнения».

Выстраивая соответствующим образом свой обзор исследовательских работ, Х. Миклас показывает, как в сферу литературных и исторических сравнений вовлекается все больше средневековых сборников. Появляется интерес к сборнику как сложножанровому образованию. Это уже не тот, скорее интуитивный, а потому часто только декларируемый интерес, который был у ученых середины

XIX — начала XX вв. (В. Виноградов, В. Ключевский, А. Орлов, Н. Никольский и др.), это уже внимание к целому, опирающееся на знание составляющих его частей.

Изучаются БСб и Сборник попа Драголя, БСб и Сборник 1348 г. (Лаврентьевский), БСб и Патерики, Миней-Четьи. Этот ряд можно продолжить, и не обязательно БСб будет стоять в центре и иметь много точек пересечения с «партерами для сравнения». Существенно то, что появилось стремление и возможность подойти к типологии средневековых сборников.

Начало новой отрасли славянской медиевистики — мисцелланологии — на современном научном уровне заложено в середине 70-х годов нашего столетия. Х. Миклас зафиксировал этот качественный скачок на примере изучения БСб.

В третьей фазе вопросы общей организации БСб, его типологической и языковой организации продолжают оставаться остро дискуссионными. Особенно активно в этом направлении работают болгарские ученые: А Милтенова рассматривает БСб и сборник попа Драголя как предпосылки типа, который доминирует в болгарской литературе с начала XVI в., определяет БСб как сборник смешанного типа и выделяет пять его критериев; Д. Петканова относит БСб к энциклопедическим сборникам и говорит о его связи с народными памятниками; Кл. Иванова рассматривает этот кодекс как типично репрезентативную средневековую книгу для индивидуального пользования. Нетрудно убедиться, что в разработках ученых превалирует типологический подход, но при всем этом почти каждое положение, оставаясь, безусловно, конструктивным, вызывает вопросы, возражения, дополнения.

В последней фазе отчетливо слышен и голос самого Х. Микласа, давно и весьма продуктивно занимающегося проблемами БСб на широком фоне славянских литератур. Заслугой Х. Микласа является не только обобщение всего исследовательского материала, но прежде всего постановка, теоретическое обоснование вопроса, к которому привела логика развития славистики: о роли славянских сборников нелитургического содержания в период первого восточнославянского влияния на южнославянскую церковную литературу. Решение этого вопроса, по-видимому, на ближайшие десятилетия определит научные судьбы многих ученых, станет этапом в славянской медиевистике.

Насколько уже сейчас серьезна та научная база, на которую и в дальнейшем будут опираться мисцелланологи, позволяет судить библиография (до 1986 г., включительно, раздел А.II): общая, с перечислением названий работ о БСб в алфавитном порядке, и тематическая. Для советских исследований этот раздел интересен еще и в плане знакомства с малодоступными зарубежными изданиями.

Палеографическо-кодикологическое описание БСб (А.IV) отличается исчерпывающей полнотой. Переведенное на русский язык оно могло бы стать кратким учебником по практической палеографии и кодикологии. Через мельчайшие палеографические черты, детали начерка украшений, колорита Х. Миклас помогает читателю увидеть общие культурологические проблемы, составить из мозаичных осколков картину развития письменности, узнать историю рукописной книги XII — начала XIV в.

Описание кодекса состоит из двух частей и включает следующие элементы: I. Внешнее описание (переплет, размеры, объем рукописи, характеристика пергамента и т. д.). II. Письмо и художественное оформление (характеристика деятельности писца и оформителя, сведения о глаголическом письме, анализ уставного письма). На с. 62—63 помещено воспроизведение всех типичных начерков букв и лигатур.

Палеографическое описание СБГ с пропиской всех видов филиграней и построчная роспись с инципитами, как уже отмечалось, выполнено В. Загребинным. Этому сборнику Х. Микласом отведено в книге подчиненное место, поэтому и палеография СБГ является лишь необходимым дополнением и не имеет того широкого сравнительно-исторического охвата, как палеографическо-кодикологический анализ БСб. Но несмотря на свой «дополнительный» характер, это описание, выполненное на самом высоком профессиональном уровне, дает целостное представление об этой рукописи и, в известной мере, компенсирует отсутствующие ее публикации.

Во введении к своей книге Х. Миклас пишет: «Когда эхо на эту публикацию отзвучит, следует подойти к реконструкции первоначального вида памятника и его интерпретации в форме критического издания». Отрадно было бы думать, что высочайшая оценка сделанного австрийским ученым, которую, мы уверены, разделяют после знакомства с Берлинским сборником советские слависты, будет

способствовать не только дальнейшему изучению БСБ и кардинальных славистических проблем, но и привлечет внимание к литературному сборнику русского и славянского средневековья, необходимости скорейшего репродуцирования хотя бы основных типов четвѣй рукописной книги. «Торжественники», «Златоструи», «Измарагды», «Златоусты» и многие другие сборники по историко-литературному и художественному значению достойны, как и Берлинский сборник, внимания не только ученых, но и достаточно широкого

круга читателей, интересующихся историей славянской культуры.

Черторицкая Т. В.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Berlinski Sbornik — Cod. slav. Wuk 48. der Staatsbibliothek Prejßischer Kulturbesitz. Berlin. Eingeleitet und herausgegeben von H. Miklas. Mit Ergänzungen aus dem Ms. 42 der Sammlung Gilferding Staatliche Öffentliche Bibliothek Saltykov-Scedrin Leningrad (Wissenschaftliche Beschreibung: V. M. Zagrebina). Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. Graz, 1988.

В. ЧЕКМОНАС. Введение в славянскую филологию. Вильнюс, 1988

Рецензируемая книга представляет собой учебное пособие для студентов-русистов и, таким образом, входит в ряд особенно важных изданий, формирующих основные представления о предмете, целях и методах нашей науки еще на университетской скамье. Особенностью данного пособия является то, что оно создано в Вильнюсском университете и рассчитано, таким образом, на читателей, владеющих литовским языком — это определило некоторые существенные частности в общей схеме и содержательных деталях книги. В особую главу выделена балто-славянская проблематика, причем тема «Славянский на индоевропейском фоне» раскрывается В. Чекмонасом прежде всего на балтийском материале. В целом, такое решение представляется весьма удачным. В остальном план, по которому построен учебник, вполне традиционен: пособие состоит из «Введения», описания внешней истории и основных особенностей славянских языков, раздела, посвященного классификации славянских языков, а также глав, в которых рассматриваются индоевропейские корни славянского и славянские древности. Завершается книга кратким очерком истории славянской филологии.

Несмотря на свой скромный объем, пособие в целом могло бы выполнить свое назначение. Однако многое в нем вызывает самые серьезные нарекания. Уже во «Введении», на наш взгляд, излишне представлены утверждения историко-политического характера, не имеющие прямого отношения к предмету, избыточные в столь небольшой книге и нередко звучащие анахронизмом уже через год после ее выхода в свет: славянские государства, *шпер*, например, автор на с. 11, стала

«провозвестниками нового, социалистического и коммунистического будущего народов». Есть во «Введении» и прямые лингвистические ошибки. Так, едва ли приемлемо утверждение о «почти полном взаимопонимании русских, украинцев и белорусов» (с. 14). Весьма небрежно изложено и содержание термина «этническое родство» в отличие от родства лингвистического. Прямо неверно glossируется в тексте (с. 16) слово «схизматический», которое В. Чекмонас поясняет как «православный!» Наконец, текст «Введения» отягощен «структурной схемой современного славяноведения» — системой концентрических окружностей и полукружностей, ничуть не способствующих ясному пониманию того, из каких же разделов состоит эта наука.

В части I «Славянские языки», где дается описание славянских языков по единой схеме, поражает та же диспропорция, что и во «Введении». В то время, как собственно лингвистическим разделам тесно, соответствующим историко-политическим очеркам (включающим и разнообразные декларации самого автора) на удивление просторно. Морфологические особенности славянских языков характеризуются при этом эмоционально, но на редкость бессодержательно и однообразно: «Морфология старославянского языка исключительно богата. В нем пять типов имен, различающихся основами и окончаниями» (с. 31); «Морфологический строй русского языка, как и абсолютного большинства славянских языков, характеризуется развитым словоизменением. Имена существительные в русском языке изменяются по четырем типам склонения, а глаголы — по двум типам спряжения» (с. 39); «[в польском

языке] имена существительные образуют пять типов склонения, при склонении имен наблюдаются чередования согласных и гласных» (с. 63). При этом, однако, автор рецензируемого *Введения в филологию* не жалеет места на такие — лишние подлинного научного содержания — декларации: «Народы СССР решают общие социальные и экономические проблемы; юноши разных национальностей служат в рядах Советской Армии и Военно-Морского Флота; комсомольцы всей страны участвуют во всесоюзных ударных стройках — вот важнейшие причины, требующие активного общения на одном языке» (с. 34). Возмутительно звучит столь же «ортодоксальное» суждение автора о трагической судьбе белорусского языка: «Подлинный расцвет его начинается после образования БССР ... В Белоруссии формируется развитое белорусско-русское двуязычие» (с. 46—47).

На этом фоне нельзя не отметить и многочисленные несообразности, которыми пестрит часть I. Тут автора нередко подводит излишне эмоциональный подход к делу. К примеру, что должен подумать хоть сколько-нибудь размышляющий над содержанием прочитанного студент, узнав, что «обе азбуки (кириллица и глаголица. — В. О.) совершенны», но «кириллический алфавит состоит из 39 основных знаков, глаголический — из 37» (с. 29)? Полное недоумение вызывает и утверждение автора о том, что фонологическими называются написания, «когда знаками алфавита обозначаются некоторые абстрактные фонетические единицы языка» (с. 38). Другое фонетическое открытие: болг. [ъ] «может быть под ударением в безударных слогах; по звучанию он напоминает англ. ə» (с. 94).

Часть II «Происхождение славянских языков» посвящена понятию языкового родства и доказательству родственных отношений между славянскими языками. Общие рассуждения автора, несмотря на некоторый вынужденный схематизм, вполне удовлетворительно вводят читателя в круг соответствующих представлений. В то же время, В. Чекмонас в ряде случаев недостаточно ясно и осторожно фор-

мулирует некоторые положения общелингвистического характера. Так, заведомо неверны его рассуждения относительно семантических особенностей заимствований (вопреки автору, среди заимствований встречаются и термины родства, и названия основных природных объектов и явлений, а заимствованные названия еды вовсе не обязательно обозначают экзотические блюда, ср. хотя бы рус. *хлеб*). Неверна и мысль о том, что в процессе усвоения заимствований не могут сформироваться ряды нетривиальных регулярных расхождений (с. 128—129). Многие кажутся сомнительным и в разделах, посвященных собственно классификации славянских языков. Едва ли приемлемо трехчастное деление славянского языкового континуума, которому по традиции следует В. Чекмонас. Генеалогическое древо восточнославянских языков (с. 163) выглядит сегодня совершенно неубедительным без учета последних исследований в области севернорусских диалектов, а схемы на с. 165 и 166, противореча друг другу, оставляют читателя в полной неизвестности относительно предка македонского языка и количества таких предков (согласно схеме на с. 166, их два).

Далеко не всегда достоверны данные, приводимые в части III — «Праславянский язык во времени и пространстве». В особенности это относится к разделам, посвященным славянским древностям и иноязычным заимствованиям в славянский. Проблемы древнейшей славянской культуры рассматриваются автором также и в части IV — «У истоков славянских народов».

С сожалением следует констатировать, что рецензируемая книга составлена небрежно и наспех. Собственно содержательно-лингвистическая часть ее составляет не более половины всего текста, но и эта половина изобилует неточностями, ошибками и бесполезной в научном издании риторикой. Поэтому — в отличие от Министерства высшего и среднего специального образования СССР — я не могу рекомендовать ее в качестве учебника для студентов-филологов.

Орел В. Э.



НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ДАЛМАТИНСКИХ ГОРОДСКИХ СТАТУТОВ

Средневековые статуты городских коммун адриатического побережья Югославии с середины прошлого столетия начали свою вторую жизнь. К этому времени они давно уже перестали быть сборниками живых юридических норм, куда постоянно заглядывали коммунальные правове́ды, а превратились в базу научных изысканий. Их комментированные издания, которые во второй половине XIX в. осуществили лучшие знатоки югославянского средневековья, предоставили для этого все возможности. Прошло более ста лет, издания XIX в. стали редкостью, а интерес к прошлому в широких слоях общества, не говоря уже о нуждах университетского преподавания, заметно вырос. Вот чем были вызваны все новые и новые публикации средневековых городских конституций, предпринятые в разных городах Югославии в 80-х годах нашего столетия.

Переиздание созданного в первой половине XIV в. статута города Шибеника, впервые изданного не в конце XIX, а в начале XVII в., взял на себя музей Шибеника [1]. Его директор С. Грубишич фототипическим способом опубликовал в одном томе, объемом более 850 страниц, весь текст венецианского издания 1608 г. с оглавлением и даже со списком опечаток, а также перевод на современный сербохорватский язык, выполненный известным медиевистом З. Херковым. Чрезвычайно важно, что публикация завершилась обстоятельным, более чем на сто страниц послесловием, где З. Херков подверг анализу сохранившиеся рукописи, историю возникновения статута, дал аналитический очерк коммунального устройства города, представил перечень старинных мер и монет, употреблявшихся в городе в средние века.

Через несколько лет (в 1987 г.) юридические факультеты в Загребе и Сплите вместе с Югославянской академией наук и искусств выпустили в свет едва ли не

самый ранний коммунальный статут южного славянства — статут Корчулы 1214 г. [2], который неоднократно издавался, переводился и изучался, в том числе и у нас. Так, в 1976 г. В. Т. Пашуто и И. В. Шталь выпустили монографию¹ о нем [3]. Подготовивший нынешнюю публикацию опытный издатель юридических памятников проф. А. Цвитанич пошел по несколько иному пути, чем З. Херков — он отказался, в частности, от очерка хозяйственно-денежной системы и дал лишь сжатое описание коммунального строя на острове. Но зато том завершается резюме на трех западных языках. Сходство же между первой и второй публикацией заключается в том, что издатели предложили вниманию читателя не только латинский текст (опубликованный И. Ханелем в 1877 г.), но и его перевод на сербохорватский.

Есть, наконец, и третья публикация (1988) — устав города Будвы на черногорском побережье, изданный будванским Историческим архивом [4]. Впервые он был напечатан в 1970 г. Н. Вучковичем с текста, подготовленного в 1882 г. известным хорватским археографом Ш. Любичем (сам статут появился предположительно в годы правления Стефана Душана). Издание 1988 г. также, как и два предыдущих, выполнено по принципу фототипической перепечатки старого издания, вместе с теми документами, которые были к нему приложены в XIX в. и с переводом на современный язык (кириллицей). Только сопроводительный текст сравнительно краток — всего семь страниц.

В связи с наметившейся в Югославии тенденцией к переизданию коммунальных

¹ Не будем вдаваться в оценку исследования, но перевод статута, помещенный в книге, выполнен явно непрофессионально. Ср.: «необузданные руки» вместо «насилые», «изымет» вместо «вывезет с острова», «сохраняют» вместо «за исключением» и проч.

уставов хотелось бы сказать следующее. На издателей явно оказали воздействие требования рынка — памятники выпускаются на высоком полиграфическом уровне, на отличной бумаге, в ярких переплетах, безусловно, в расчете на состоятельного покупателя, может быть, даже на туриста. Еще важнее то, что в отличие от прошлых времен, когда отбор памятников, их изучение и публикация были прерогативой Югославенской академии, ныне эта задача выполняется различными научными учреждениями. И, наконец, переиздание ведется не только с академическими, но и с популяризаторскими целями — вместе с оригинальным текстом везде публикуются переводы на современ-

ный язык, и тираж, до 2 тыс. экземпляров (в югославских условиях это много), отчетливо ориентирован на это.

Фрейденберг М. М.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Knjiga statuta zakona i reformacija grada Sibenika. Sibenik, 1982.
2. Korčulanski statut. Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine. Zagreb — Korčula, 1987.
3. Пашуто В. Т., Шмаль И. В. Корчула. Корчуланский статут как исторический источник изучения общественного и политического строя острова Корчула XIII в. М., 1976.
4. Средньовјековни статут Будве. Будва, 1988.

Codices selecti Faksimile Editionen I—LXXXVII. Katalog. Graz, 1987.

Факсимильные издания избранных памятников I—LXXXVII. Каталог

Широко известное в Западной Европе издательство Akademische Druck-u. Verlagsanstalt выпустило каталог изданий, которые вышли в серии Codices selecti за весьма существенный «отчетный период» — около 35 лет.

Внимание специалистов, занимающихся древнеславянскими литературами, эта серия, несомненно, должна была привлечь уже тем, что ее 79-й том посвящен изданию одной из самых ценных рукописей славянского средневековья — Берлинскому сборнику [1]. Остальные же книги Codices selecti также достойны того, чтобы войти в круг чтения советских ученых, получить их признание.

В каталоге 87 томов (кроме 79-го, который в октябре 1987 г. — времени выхода в свет каталога — еще находился в производстве). Эти 87, а точнее 86 изданных фотомеханическим способом древних памятников названы в нескольких разделах: алфавитном, хронологическом (для европейских рукописей — с IV—V вв. до XVII в. включительно) и тематическом с подразделами: астрономия, библейские рукописи, молитвенные книги, география, история, жизнеописания святых, литература, литургия, медицина, музыка, учебные книги, мифология, религия, звери, искусство предсказаний.

Для медиевистов разных профилей издания Codices selecti могут иметь не только научный, но и познавательный интерес, как, например, Krutauer Bildercodex. Graz, 1967, т. XIII. В этой

пергаментной книге 1360 г. на 172 листах изображены сюжеты многочисленных легенд о святых, дидактические повествования о жизни и страданиях Иисуса Христа, Девы Марии, христианских учителей и подвижников. Настоящее издание содержит интересный материал по типологии средневековых сюжетов.

При изучении вопросов взаимосвязи литературы и изобразительного искусства, культуры издания и оформления книги в Западной и Восточной Европе в средние века важно будет познакомиться с лицевыми, иллюминированными кодексами, такими как «Псалтирь св. Луиса» — памятник 1253—1270 гг. (т. 37), «Апокалипсис Вестминстерский» — 1272 г. (т. 77) или «Бестиарий XII в.» (т. 76). «У истоков этого книжного типа, — пишут составители каталога о «Бестиарии», — стоит греческий «Физиолог» — христианская настольная книга позднеантичного искусства» (р. 82).

Читателей, несомненно, заинтересует и книга средневековой иконографии В. Мольсдорфа «Христианская символика средневекового искусства» (1984), и «Розарий» — памятник первой половины XVI в. с 33 миниатюрами, выполненными фламандским мастером Симоном Бенигом. «Розарий» содержит короткие молитвословия, обращенные к христианским святым, знакомство с которыми наводит на любопытные параллели с молитвенными формулами древнерусского ораторского искусства.

Подробная характеристика каждого публикуемого в серии *Codices selecti* памятника с использованием богатого иллюстративного материала дана в каталоге в следующих разделах: группа А. Западноевропейские иллюминированные рукописи; группа В. Текстовые рукописи; группа С. Среднеамериканские рукописи; группа D. Восточные рукописи, еврейские рукописи.

Каталог приводит краткую и одновременно исчерпывающе полную информацию о малоизвестных в СССР изданиях памятников древней литературы, искусства, науки, выполненных на самом высо-

ком художественном и техническом уровне. У советского читателя, получающего благодаря каталогу ориентиры в научных поисках, издательство *Akademische Druck- u. Verlagsanstalt* несомненно вызовет признательность за введенные в научный оборот памятники древней письменности.

Черторицкая Т. В.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Berlinski Sbornik.— Cod. slav. Wuk 48. der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin. Eingeleitet und herausgegeben von H. Miklas. Graz, 1988.*

L. DVONČ. Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slavikistov a slavistov (1925—1975). Matica slovenská, 1987, 1388 s.

Л. ДВОНЧ. Словацкие языковеды. Полная персональная библиография словацких словакистов и славистов (1925—1975)

Матица словацкая выпустила в свет ценный биобиблиографический труд. В тщательно составленном справочнике читатель найдет богатые сведения о научной, педагогической, редакторской и издательской деятельности словацких лингвистов за период с 1925 по 1975 г. Следует отметить, что в Словакии библиографическая работа в области языкознания ведется достаточно систематично и регулярно, ср., например, книги В. Бланара [1] и Л. Двонча [2]. Однако рецензируемый труд не только охватывает более широкие хронологические рамки, но и дополняет лингвистическую библиографию того или иного автора необходимыми сведениями биографического характера.

Описание строится по единой схеме. Сначала приводятся биографические данные: дата и место рождения (об умерших языковедах соответственно дата и место смерти), образование, академические и педагогические звания и должности, ученые степени, место работы, награды и др. Отдельно отмечаются основные направления в лингвистической деятельности названного автора. В следующей части дается список опубликованных работ в хронологическом порядке; в рамках одного года при этом публикации располагаются последовательно по различным типам: сначала книги (монографии, учебники, ротапринтные издания), затем научные статьи и исследования, рецензии, рефе-

раты, заметки, библиографические обзоры, сообщения, юбилейные статьи, интервью, некрологи и т. п. В библиографическом списке фиксируются не только собственно лингвистические работы, но и публикации по смежным научным дисциплинам (этнографии, истории, литературоведению и др.), что позволяет получить более полное представление о творческом лице того или иного автора. Завершают описание сведения о переводческой, редакторской и издательской деятельности автора, а также имеющаяся литература о нем.

В книге имеется важный дополнительный материал: очерк об истории, организационной структуре и основных направлениях и результатах научной деятельности Института языкознания им. Людовита Штура САН, информация о Словацком лингвистическом обществе при САН и о деятельности кафедры словацкого языка философского факультета Университета им. Коменского (Братислава), а также о работе кафедр словацкого языка и литературы в высших учебных заведениях Нитры, Трнавы, Банской Быстрицы, Кошице и Прешове.

О высокой культуре издания свидетельствует наличие в нем предметного и именного указателей, которые помогут читателю наиболее эффективно использовать справочник.

В заключение подчеркнем, что указанный биобиблиографический труд, содер-

жакий богатую и систематизированную информацию о жизни и творческой деятельности современных словацких лингвистов, представляет несомненный интерес не только для словакистов, но и для широкого круга филологов-славистов.

Смирнов Л.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Blanár V.* Bibliografia jazykovedy na Slovensku v rokoch 1939—1947. Bratislava, 1950.
2. *Dvonč L.* Bibliografia slovenskej jazykovedy za roky 1948—1952. Martin, 1957; ...1953—1956. Martin, 1958; ...1957—1960. Martin, 1962; ...1961—1965. Martin, 1970.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Aleksander Brückner, 1856—1939 / Opr. Berbelicki W. W-wa, 1989, 319 s.
- Antički teatar na tlu Jugoslavije: Istorija i savremenost: Zb. radova / Odg. ured. Stojanov M. Novi Sad, 1989, 180 s., 13 l. il.
- Brzozowski S.* Polacy na studiach gospodarstwa wiejskiego w Niemczech w XIX i XX wieku. Wrocław etc., 1989, 238 s.
- Dahl J.* Die Abiönungspartikeln im Deutschen: Ausdrucksmittel für Sprechereinstellungen mit einem kontrastiven Teil dt.-serbo-kroatisch. Heidelberg, 1988., 303 S.
- Deportacje i przemieszenia ludności polskiej w głąb, ZSRR, 1939—1945. Przegląd piśmiennictwa / Wybor i oprac. Doktor G. et al. Pod red. Walichnowskiego T. W-wa, 1989, 302 s.
- Encyklopédia dramatických umení Slovenska / Zodp. red. Blech R. Br., 1989, 693 s., il.
- Heuser B.* Western «containment» policies in the cold war: The Yugoslav case, 1948—53. N. Y., 1989, 304 p.
- Historia sejmu polskiego. T. 2, cz. 2, II Rzeczpospolita / Nap. Ajnenkiel A. W-wa, 419 s.
- Gavlović H.* Valaská škola mravův stodola / Na vyd. priprav. a koment. nap. Gáfríková G. Br., 1989, 998 s., 12 l. il.
- Kowalski W. T.* Ostatni rok Europy (1939). W-wa, 1989, 814 s.
- Kraskowska E.* Twórczość Stefana Themersona: Dwujęzyczność a lit. Wrocław etc., 1989, 143 s.
- Kulturelle Traditionen in Bulgarien: Ber. über das Kolloquium der Südosteuropakommis 16.—18. Juni 1987 / Hrsg. von Lauer R., Schreiner P. Göttingen, 346 S., il.
- Lisowska-Niepokólczycka A.* Bolesław zwany Chrobrym. Wyd. 2. W-wa, 1989, 136 s., il.
- Mroczek K.* Epitafium staropolskie: Między tradycją literacką, a obrzędem weselnym. Wrocław etc., 1989, 171 s.
- Olonová E.* Literatura jakožto umělecké svědectví: Ruská a sovětská poezie a próza let 1941—1945. Pr. 1989, 75 s.
- Polonica zagraniczne: Bibliografia / Oprac. Rogozińska W., Olszewska H. W-wa, 1989, 241 s.
- Polska bibliografia literacka...za r. 1981, cz. 1 / Red. tomu Mendelska E. W-wa, Łódź, 1989, 563 s.
- Polski słownik biograficzny. T. 32/1, z. 132. Romiszowski Aleksander — Roswowski Andrzej. Wrocław etc., 1989, 176 s.
- Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV (1378 dec. 1419 aug. 16) / Ed. Kopickova B. Pr., 1989, 431 s.
- Sixième congrès international d'études du Sud-Est européen, Sofia, 30.VIII — 5.IX 1989. Red. Todorova E. Sofia, 1989, 222 p.
- Slavica pragensia / Red. Petr J et al. 1989, Pr., 214 s.
- Slovensko v období prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu: Teoreticko-metodologické a socialno-ekon. problémy / Red. Cambel S. Pr., 1989, 192 s.
- Słownik gwar polskich / Pod kier. Reichana J. T. 3, z. 1(7). Brodzga — byc. XIX. Wrocław etc. 215 s.
- Slovník jazyka staroslovenskeho = Lexicon linguae palaeoslovenicae / Hl. red. Hauptova Z. 42. Съма-терентип, 385—448 с. Pr., 1989.
- Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexicon mediae et infimae latinitatis polonorum / Kierownik Weyssenhoff-Brozkowa K. T. 6, z. 6(50). Nuntius-Octus. Wrocław etc., 1989.
- Slovník spisovného jazyka českého. 1.A — G. XXV, 555 s.; 2. H — L, 594 s. / Za ved. Havránka B. et al. zprac. lexikograf. kol. Ust. pro jazyk česky CSAV. Pr. 1989.
- Smatlák S.* Dejiny slovenskej literatúry: Od stredoveku po súčasnosť. Br. 1988, 628 s.
- Spółcześnieństwo polski średniowiecznej. Zbiór studiów / Pod red. Kuczyńskiego S. K. T. 4. W-wa, 1990, 357 s.
- Stefanovičová T.* Osudy starých Slovanov. Martin, 1989, 173 s., il.
- Sucheni-Grabowska A.* Spory królów ze szlachtą w słotym wieku: Wokół egzekucji praw. Kraków, 1988, 81 s., il.
- Suchodolska M., Suchodolska B.* Polska: naród a sztuka. W-wa, 1988, 471 s.
- Sudolski Z.* Słowacki: opowieść biograficzna. Wyd 2-e. W-wa, 1989, 316 s., 28 ark. il.
- Sundhausen H.* Historische Statistik Serbiens 1834—1914. München, 1989, 645 S., il.
- Studia z językoznawstwa rosyjskiego i słowianskiego / Pod red. Blicharskiego M. Katowice, 1989, 136 s.
- System polityczny PRL w procesie przemian / Red. Kuciński J., Staszewski M. T. W-wa, 1988, 404 s.



СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СЛАВЯНСКИЙ МИР И РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»

Проходившая 1—8 октября 1989 г. в Киеве конференция «Славянский мир и Римская империя» была организована Национальным комитетом историков СССР, Комиссией историков СССР — ПР, Институтом археологии АН УССР. Со вступительным словом к участникам обратились директор Института археологии АН УССР чл.-корр. АН УССР П. П. Толочко и проф. Е. Велевейский (ПР), которые подчеркнули значительное влияние позднеримской и византийской культуры на славянские народы Восточной Европы и необходимость совместного изучения этих проблем историками и археологами разных стран.

На конференции большое внимание было уделено анализу новых археологических данных по истории раннего славянства. Обобщив значительный материал о распространении римских товаров (прежде всего серебряных изделий) на территории Центральной и Восточной Европы, проф. Е. Велевейский сделал выводы о хронологии появления и особенностях функционирования этих изделий в различных областях изучаемого региона и возможности на этой основе локализовать местные славянские культуры. Данный метод, интерпретируемый им как применение культур-антропологии в археологических исследованиях, позволяет, по мнению ученого, лучше понять процесс аккумуляции славянства, т. е. трансформации его исходной культуры под влиянием римской цивилизации, а также измерить степень этого влияния, ослабевавшую по мере удаления от границ империи.

Призыв в переоценке традиционных подходов и схем в объяснении этногенеза славянства и интерпретации в этой связи археологических памятников прозвучал в докладах советских ученых. Так, проф. В. Д. Баран указал на спорность укрупнившегося представления о том, что все культурные элементы славянства по-

явились в одно время и в одном месте. По его мнению, следует говорить о разных культурах, имевших неодинаковые основания и претерпевших различные воздействия извне в процессе формирования. Более того, применительно к ранним культурам вообще проблематично говорить о наличии в них определенных признаков, позволяющих отнести их к славянской цивилизации. В римское время славяне еще не выработали своей оригинальной культуры, а потому ее нельзя атрибутировать как таковую. Перспективным направлением в археологии является поэтому изучение пограничных культур и составляющих их элементов. С этой точки зрения в докладе была дана характеристика географического положения, расселения и памятников материальной культуры славянских племен Висло-Днепровского междуречья в римское время.

Критически оценивая постановку современной наукой проблемы этногенеза славян, проф. Л. Д. Поболь отметил, что долгое время в ней преобладали априорные установки, преодоление которых на современном этапе требует объективного анализа археологических данных. Применительно к древнейшему периоду истории славянства нельзя, например, говорить о народах, так как реально мы имеем дело лишь с родами, племенами, общинами, границами и устройством которых можно выяснить лишь путем скрупулезного анализа в каждом конкретном случае. Характеризуя археологические памятники славянского населения I—II вв. н. э., проф. Е. В. Максимов рассмотрел эволюцию так называемой зарубинецкой культуры. Согласно его точке зрения, выявленные к настоящему времени памятники позволяют говорить о преемственности развития зарубинецкой культуры. Причина того, что эта культура прекращает свое существование в первые века нашей эры, заключается

не в ее внутреннем разложении, а в вытеснении ее воинственными сарматскими племенами. Перемещение племен в этот критический период истории играло большую роль в становлении культурных традиций славянского населения, чем было принято думать.

В ряде докладов советских и польских исследователей была дана характеристика новых археологических памятников славянских племен, влияния на них элементов греко-римской цивилизации. И. Томашевская (ПР) сделала обзор культурных и колонизационных перемен в северо-восточной Мазовии и Подлясье в эпоху римского влияния. З. Кобылинский (ПР) охарактеризовал славянские поселения между Бугом и Одером в начале раннего средневековья, причем была сделана попытка моделирования поселений и изучения на этой основе генезиса средневековых городов в польских землях. Славяне Поднепровья в ареале черняховской культуры стали предметом рассмотрения А. Т. Смиленко. Славянскую культуру Днепровского Левобережья в римскую эпоху проанализировал Р. В. Терпиловский, констатировавший, что главной причиной кризиса зарубинецкой культуры было не вторжение извне, а изменение климатических условий, повлекшее неизбежные изменения в обработке земли, семейной организации, а в конечном счете и границ расселения славянских племен. Археологические памятники раннеримского времени на Левобережье Днепра охарактеризовал А. М. Сбломский, обративший внимание на связь позднезарубинецкой культуры с шеворской. Черты римской провинциальной культуры в материальных памятниках населения Восточных Карпат показала Л. В. Вакуленко. Взаимоотношения античных городов Северного Причерноморья — Тира и Ольвии и земледельцев степей — скифов, венедов, племен черняховской культуры в области ремесла, торговли, обмена культурными ценностями охарактеризовала А. В. Гудкова. Значение нумизматических источников для изучения славянских культур было продемонстрировано в докладе В. П. Глущенко, давшей характеристику всех известных находок римских монет на территории Восточной Европы как по количественным, так и по качественным параметрам с применением ЭВМ. На основании комплексного анализа разнообразных групп источников М. Ю. Брайчевский предложил общую периодизацию памятников римского времени на терри-

тории Юго-Восточной и Центральной Европы.

Особой темой на конференции явилась проблема культурных и идейных влияний римско-византийской цивилизации на славянский мир. Как было показано в докладе проф. Т. Василевского (ПР), отношения Руси и Византии в X—XI вв. носили весьма сложный характер и менялись с течением времени. Если первоначально Византия рассматривала Русь как государственное образование, входящее в сферу влияния Хазарского каганата, то с течением времени это положение радикально меняется. Решающее значение в этом отношении имело крещение Руси при князе Владимире, после которого, как показывает анализ дипломатических документов, к русским князьям переходит высший титул, который ранее использовался византийцами лишь для обращения к хазарским правителям. Проанализировав на основании новых источниковедческих наблюдений место антов по отношению к Византии и кочевникам (аварам), чл.-корр. АН СССР Г. Г. Литаврин сделал вывод о несостоятельности распространенного в литературе (главным образом, западной) представления о зависимости славян от кочевых племен и вытеснении первых последними. По его мнению, роль кочевых племен вообще сильно преувеличена и они никогда не господствовали на Левобережье Днепра. С этой точки зрения возможно уточнение и славяно-византийских отношений рассматриваемого периода.

Задавшись вопросом о том, было ли древнеримское понятие «рабства» чуждо славянам, проф. К. Модзалевский (ПР) провел анализ правового положения ряда однотипных категорий зависимого населения на основании варварских правд. Проанализировав в данном ракурсе статьи Русской правды об уголовном и гражданском судопроизводстве, процессуальные нормы, он пришел к выводу, что на Руси (как в римском и раннесредневековом праве) можно констатировать наличие такой социальной категории, представители которой подобно римским рабам являются объектом права, но ни в коем случае не его субъектом. Общие и специфические черты развития польской и русской средневековой исторической мысли были показаны М. Е. Бычковой на примере интерпретации в ней скифо-сарматской темы. Если в древнейший период повсюду на польских и русских землях господствует единообразное представление о скифах и сарматах (восхо-

дыщее к библейской легенде о расселении народов), то с переходом к новому времени, или примерно с XVI в., польская и русская традиции расходятся, что находит выражение в генеалогиях знатных фамилий, которые на Руси начинают выводить себя уже не от сарматов, а от пруссов.

Социальные и идеологические перемены в Киевской Руси, связанные с ее крещением в 988 г., охарактеризовал проф. А. Поппэ (ИР). Христианство привнесло с собой цельную философскую картину мира, стандарты римско-византийской цивилизации, новое мышление и язык. Оно дало возможность последующей целенаправленной селекции культурных ценностей, создания на этой основе интеллигенции, а точнее — интеллектуальной элиты общества. Анализ всех, как позитивных, так и негативных, сторон крещения Руси позволяет, во всяком случае, констатировать, что это событие привело к существенному росту внутреннего единства и международного престижа молодого славянского государства.

Значение римского права для развития

русской юридической мысли раскрыл А. Н. Медушевский. Было показано, каким образом возрождение теорий естественного права в России кануна революции обусловило обращение ведущих русских юристов к переосмыслению значения и истории римского права, его рецепции в России. Именно в этот период на материале, главным образом, римского права было дано теоретическое и практическое обоснование реформ гражданского, уголовного и процессуального права, проведение которых создавало фундамент гражданского общества, правового государства и гарантий прав человека.

Общим итогом конференции является переосмысление ряда традиционных и долгое время считавшихся едва ли не неизблемыми воззрений, постановка и живое обсуждение многих актуальных научных проблем. Стала очевидной необходимость специальной разработки проблематики влияния позднеимперской и византийской цивилизации на славянский мир, его культуру, церковь, государственность и право.

Медушевский А. Н.

КОНФЕРЕНЦИЯ К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛА ЧАПЕКА

12—13 декабря 1989 г. состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося чешского писателя Карела Чапека (1890—1938). Конференция была организована Союзом писателей СССР, Институтом славяноведения и балканистики АН СССР и Обществом советско-чехословацкой дружбы. В ее работе приняли участие представители различных научных, учебных и творческих организаций: ИСБ, Московской и Ленинградской писательских организаций, МГУ, Черновицкого университета, ВНИИ искусствоведения. Участником конференции был также известный чешский литературовед, проф. Оломоуцкого университета М. Заградка. На конференции присутствовали: директор Культурно-информационного центра ЧССР Я. Пастряк, третий секретарь Посольства ЧССР И. Шедо. Было заслушано 13 докладов, посвященных различным аспектам творчества чешского прозаика, поэта и драматурга.

Конференцию открыл д-р филол. наук, проф. С. В. Никольский (ИСБ). Отметив, что конференция является лишь начальным звеном в цепи юбилейных меро-

приятий в СССР, связанных со 100-летием со дня рождения К. Чапека, С. В. Никольский подробно остановился на вопросе о популярности чешского писателя в нашей стране, о которой убедительно свидетельствует то, что на 1 января 1989 г. насчитывалось 119 книжных изданий произведений К. Чапека на 16 языках народов СССР, общим тиражом более 10 млн. экземпляров. В докладе «Карел Чапек — выдающийся писатель XX в.» С. В. Никольский основное внимание уделил характеристике разностороннего дарования писателя, отражению в его книгах глобальных проблем, взлетов духа и кровавых потрясений нашего столетия. По мнению докладчика, творчество К. Чапека отличает стремление постичь мир в его целостности, объединить в художественном сознании два полюса мира — личность и общество, человека и человечество. При этом главным критерием оценки как событий частной жизни, так и явлений планетарного масштаба служит нравственно-гуманистический идеал писателя, который особенно близок нам сегодня. С констатацией актуальности творческого наследия К. Чапека в наши дни

начала свой доклад «К. Чапек и развитие чешской поэзии» канд. филол. наук Л. Н. Будагова (ИСБ). «Многие „ошибки“ и „заблуждения“, в которых Чапека обвиняли в былые времена, — сказала она, — теперь, в нашем поумневшем обществе, осознаются как ясновидения большого художника и мудрого философа». Л. Н. Будагова анализировала влияние переводов К. Чапека из французской поэзии, в особенности перевода «Зоны» Аполлинера, на поэтическое творчество его современников (В. Незвала, И. Волькера, В. Завады). В известном смысле с этими переводами связаны некоторые особенности развития чешской поэзии XX в., так как эти особенности не прослеживаются с такой же очевидностью в других литературах. Свообразным продолжением этого доклада, как бы «вписывающим» К. Чапека в чешскую литературную традицию, стало выступление канд. филол. наук А. П. Соловьевой (ИСБ), рассмотревшей вопрос об отношении К. Чапека к общественной и журналистской деятельности замечательных мастеров чешской литературы XIX в. — К. Гавличека-Боровского и Я. Неруды.

Большой интерес присутствующих вызвал доклад М. Заградки, посвященный проблемам взаимоотношений К. Чапека и президента Чехословакии Т. Г. Масарика. Главной задачей, отметил докладчик, является освобождение от ограниченного, догматического истолкования мировоззрения писателя, и в этом направлении может помочь изучение книги К. Чапека «Беседы с Т. Г. Масариком». М. Заградка высказал мнение о привлекательности для Чапека некоторых сторон личности и мировоззрения Масарика.

В ряде выступлений на конференции затрагивались конкретные проблемы творчества К. Чапека, определенные стороны его художественной системы. Доклад д-ра филол. наук, проф. Р. Р. Кузнецовой (МГУ) «Гротеск в романе К. Чапека „Война с саламандрами“» был посвящен анализу образа саламандры и функций этого образа-символа в системе чапековской сатиры. Специфику гротеска в романе Р. Р. Кузнецова видит в том, что Чапек стирает границы между гротеском и психологической сатирой, добиваясь органичного соединения высокой степени обобщения, присущей классическому гротеску, с критикой конкретных явлений общественной жизни. Д-р филол. наук И. А. Бернштейн (ИМЛИ) в докладе «К. Чапек и антиутопия XX в.» остановилась на типологии романа-антиутопии в творчестве

Е. Замятина, Д. Оруэлла, О. Хаксли и проанализировала изменения, внесенные в жанровую структуру антиутопии К. Чапеком. Д-р филол. наук, проф. И. А. Волков (МГУ) избрал темой доклада отношение драмы К. Чапека «R. U. R.» к литературным традициям и рассмотрел проблему «искусственного человека» на материале мифологии и истории литературы. В докладе аспирантки МГУ Е. Н. Ковтун рассматривались вопросы художественной специфики фантастических романов К. Чапека и Г. Уэллса, формирования в творчестве этих писателей основных принципов социально-философской фантастики XX в. Студентка кафедры славянской филологии МГУ И. Крылова рассказала о работе семинара, посвященного творчеству К. Чапека.

Другой круг докладов был посвящен восприятию творчества К. Чапека в СССР. Тема эта была начата канд. филол. наук О. М. Малевичем (Ленинград), рассказавшем о своей работе над вступительной статьей к сборнику «Карел Чапек в воспоминаниях современников», изданному издательством «Художественная литература». В его выступлении, содержащем интересный фактический материал, были охарактеризованы родственные и дружеские связи писателя с Й. Чапеком, Ф. Лангером, Й. Коптой, Ф. Кубкой и другими участниками чапековских «пятниц», включая Т. Г. Масарика и Э. Бенеша; подробно проанализированы мемуары Г. Чалковой и О. Шайнфлюговой. Канд. искусств. Л. П. Солнцева посвятила свое выступление истории постановок пьес К. Чапека на сценах советских театров и различным актерским трактовкам и воплощениям образов Чапека. Несмотря на большое количество постановок, советским театром еще не использованы многие возможности сценического освоения творчества К. Чапека, считает Л. П. Солнцева. Канд. ист. наук Ф. А. Молок (АПН) сделал сообщение об издании книг К. Чапека в СССР, начиная с 20-х годов нашего века. О многолетней кропотливой работе издательства «Художественная литература» над выпуском пяти- и семитомного собрания сочинений К. Чапека, а также отдельных произведений писателя рассказала И. И. Иванова (Москва). Ю. А. Рознатовская (ВГБИЛ) представила собравшимся выходящую в 1990 г. на чешском и русском языках библиографию произведений писателя и критической литературы о нем.

В ходе конференции состоялась плодотворная дискуссия, в том числе по проб-

лемам изучения «белых пятен» в биографии К. Чапека, его взаимоотношений с Т. Г. Масариком (проблема сходства и различия взглядов), образа «маленького человека» и «обывателя» в творчестве писателя и т. д. В адрес конференции поступила приветственная телеграмма председателя Общества братьев Чапек в ЧССР В. Фишара.

На конференции было принято решение об учреждении Общества братьев Чапек при Обществе советско-чехословацкой дружбы для дальнейшего изучения и популяризации их творчества в нашей стране. Председателем Общества избран С. В. Никольский.

Ковтун Е.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Tarszyński M.* Franciszek Zymirski general zapomniany. W-wa, 1988, 251 s., 16 ark. il.
- Tejchman M.* Balkánský fašismus. Pr., 1989, 87 s.
- 581 *Tešić G.* Antologija srpske avangardne pripovetke, 1920—1930. Novi Sad, 1989, s.
- Tkáčiková E.* Podoby slovenskej literatury obdobia renesancie. Br., 1988, 107 s.
- Tomek F.* Revolučné odborové hnutie na Slovensku v revolúcii 1944—1948 — Br., 1988, 172 s.
- Tomčík M.* Tvorba a kritika (v súčasnej lit). Br, 1987, 328 s.
- Tosović B.* Funkcionalni stilovi. Sarajevo, 1988, 313 s.
- Tragedia Komunistycznej partii Polski / Red. Maciszewski J. W-wa, 1989, 241 s.
- Trojanowska T., Pleśniarowicz K.* Poszukiwania nowego teatru: w kregu teorii, 1887—1939. Wrocław etc., 1988, 68 s.
- 357 *Turnock D.* Eastern Europe: an hist geography, 1815—1945. L., N. Y. 1989, IX, p. il.
- Turnock D.* The making of Eastern Europe: from the earliest times to 1815. L., N. Y., 1988, IX, 326 p.
- Tyszkiewicz J.* Tatarzy na Litwie i w Polsce: studia z dziejów XIII—XVIII w. W-wa, 1989, 343 s. 16 ark il.
- 286 *Urban J.* Jugosłávie v boji proti fašismu. Pr., 1988, 61 s.
- Urbanowski B.* Filozofia czynu: Swiatopogląd Józefa Pilsudskiego. W-wa, 1988, s.
- Varsik B.* Otázky vzniku a vývinu slovenského zemanstva. Br., 1988, 299 s.
- Yavetz Z.* Slaves and slavery in ancient Rome. Oxford, 1988, VIII, 182 p.
- Vongrej P.* Literarna historia v Matici slovenskej, 1863—1963. Martin, 1988, 97 s.
- Waliska I. M.* Kościół i klasztor Sakramentek w Warszawie — pomnik zwycięstwa pód Wiedniem. W-wa, 1988, 152 s.
- Wierzbicka-Michalska K.* Aktorzy cudzoziemscy w Warszawie w latach 1795—1830. Wrocław etc., 1988, 189 s.
- Witschew D.* Bulgarische Proza: Entwicklungstrends u Genrestrukturen im 19. u. 20. Jh. B., 1988, 378 S.
- etc., 1989, 132 s.
- Zbornik razprav iz slovenskega jezikoslovja: Tinetu Logarju ob solemdesetletnici / Zbral in uredil Jakopin F. Ljubljana, 1989, 408 s.
- Z dziejów polskiego społeczeństwa i kultury. Wrocław etc., 1989, 210 s.
- Z problemów frazeologii polskiej i słowianskiej / Pod red. Basaja M., Rytel D. Wrocław etc., 1988, 269 s.

CONTENTS

DISCUSSIONS

- The USSR — Jugoslavia. Events of 1948 in modern interpretation 3

ARTICLES

- D'yakov V. A.* The Importance of Marxism for the Historical Science. *Tihomirova V. Y.* Tadeusz Rurzewicz and Soviet Culture. *Weiskopf Michael* (Israel). Gogol and Skovoroda: The Problem of «An External Person». *Lipatov A. V.* Kraszewski «The Russian»: Typological Parallels in Polish and Russian Literatures. *Nikolaev S. L.* To the History of the Crivich Tribal Dialect. *Yakovlev A. V.* On Some Problems of the Modern Greek Consonantism 19

COMMUNICATIONS

- Bogayeva N. A., Novopashin Yu. S.* The Western Politology on the Development of the Socialist Commonwealth. *Latysh M. V.* Parliament Declaration of the May 30-th 1917 and the Czech Policy. *Ivinskij P. I.* Polish-Eastslavics Literary Relationships 70

PEOPLE, EVENTS, FACTS

- Kuz'min M. N.* Slovak Comeniologist Jan Rodomil Kvačala as a Professor of the Yur'yev (Dorpat) University 94

PORTRAITS

- Iskrin M. G.* The Petersburg Bibliographer V. G. Anastasevich 99

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

- Two Opinions on a Book (Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян). *Firsov Ye. F.* O. Novak. Henleinovci proti Československa. Z. historie sudetoněmeckého fašismu v letech 1933—1938. *Yevgenyyn I. Ye. G. X.* Skilling. Samizdat and Independent Society in Central and Eastern Europe. *Agarkina T. P.* С. Ф. Мусиенко. Творчество Зофьи Налковской. *Chertoritskaya T. V.* A Valuable Edition in the Field of Slavic Studies. *Katalog. Orel V. E.* В. Чекмонас. Введение в славянскую филологию 103

NOTES OF BOOKS

- Freidenberg M. M.* New Publications of Dalmatian City Statutes. *Chertoritskaya T. V.* Codices selecti Faksimile Editionen. I—LXXXVII. *Katalog. Smirnov L. L.* Dvonč. Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slovistov (1925—1975) 119

SCIENTIFIC LIFE

- Medushevsky A. N.* Soviet-Polish Conference «The Slavic World and the Roman Empire». *Kovtun Ye.* Karel Capek Centennial Conference 123

Технический редактор *Е. В. Силицына*

Сдано в набор 10.04.90	Подписано к печати 04.06.90	А-07336	Формат бумаги 70×108 ^{1/16}
Высокая печать	Усл. печ. л. 11,2	Усл. вр.-отг. 15,1	Уч.-изд. л. 12,3
Тираж 1308 экз.	Зак. 4340	Цена 1 р. 20 к.	

Адрес редакции: 121069, Москва Г-69, Трубликовский переулок д. 30а.
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

1 р. 20 к.

Индекс 70891